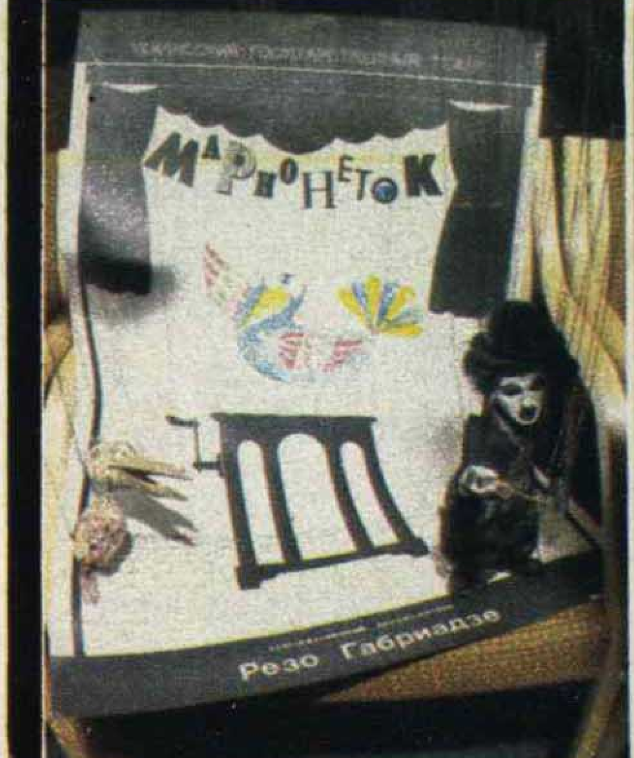


ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

№ 6 февраль 1988

ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК



ЛИКИ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ



ДАНИИЛ ГРАНИН ВСПОМИНАЕТ...

ВАХШ! Я ТВОЙ ХОЗЯИН!

8k

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 6 (3159)

6—13 ФЕВРАЛЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
ЗДРАВСТВУЙ, ВОДА!
(См. в номере материал «ВАХШ: ЕСТЬ ПЕРЕКРЫТИЕ!»)

Фото Марка ШТЕЙНБОКА

Оформление В. В. ВАНТРУСОВА при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп.,
на полгода — 10 руб. 38 коп.,
на квартал — 5 руб. 19 коп.

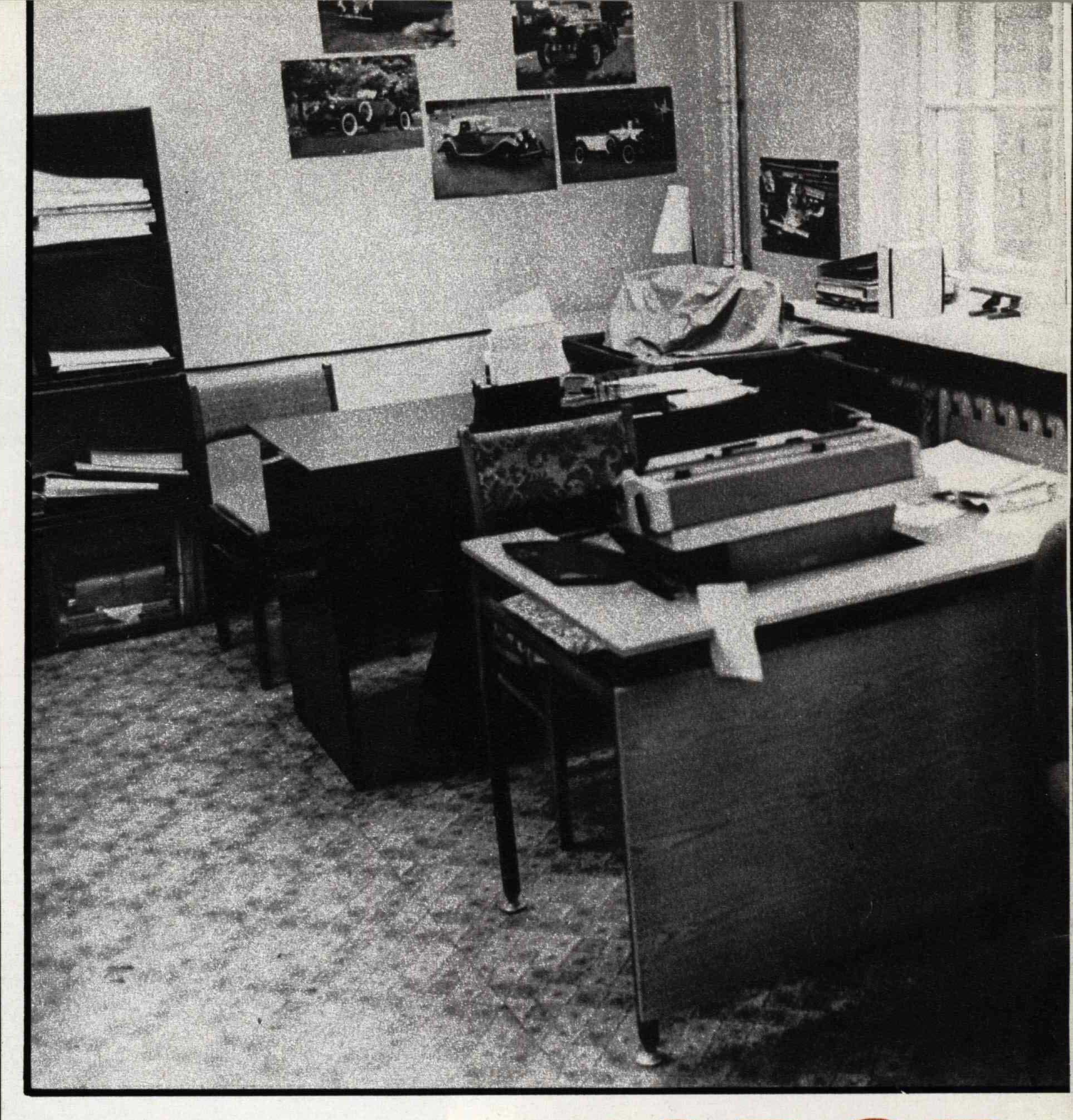
Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформления — 212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 18.01.88. Подписано к печати 02.02.88. А 11706. Формат 70 × 108 1/8. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 770 000 экз. Заказ № 1840.

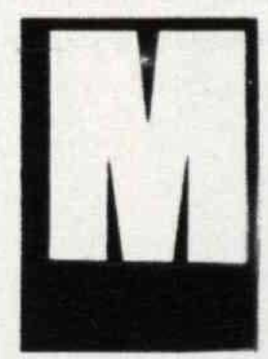
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.



Борис РЯЗАНЦЕВ,
Эдуард ЭТТИНГЕР (фото),
специальные корреспонденты «Огонька»

ПОРОГ В ЗАВТРА



Мы видели много лиц. А в них отражались тревога и неуверенность. За будущее свое и оставленного дела, в государственной значимости которого их убеждали на протяжении шести лет.

Таким предстал ликвидированный Госкомнефтепродукты СССР. Поскольку любое ведомство все-таки не только здание, мебель, дыроколы и пустографки, а коллектив, выполняющий определенную хозяйственную задачу. И совсем другое дело — коллектив вчерашний, потерявший коренную связь, лишенный стержня, растерянный.

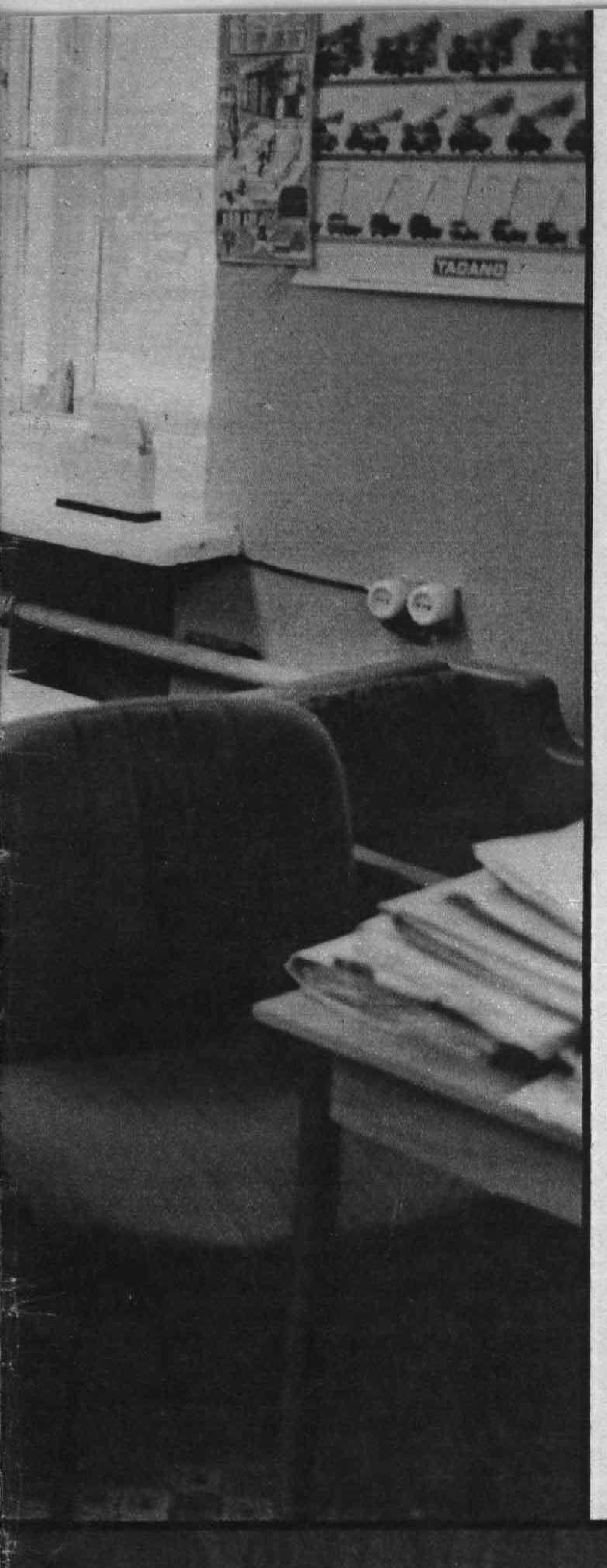
Но стране позарез нужны квалифицированные специалисты в других местах. На производстве, в строительстве, сфере обслуживания, да мало ли где. Никто не останется без работы — это гарантировано Конституцией. Государству и обществу невыгодны скопления управленцев, на подготовку которых в вузах потрачены немалые средства. И которые за канцелярскими столами теряют профессиональные и приобретают бюрократические навыки.

«Если Госкомитет расформировали, значит, он не нужен»,— размышляли мы. А лишними в наше время могут быть организации, не выполняющие своих функций. В которых сильна только власть стола, иначе бюрократия. Присмотревшись, мы находили ее приметы. Причем в местах, совершенно не видимых для неискушенного глаза. К примеру, один плановик в откровенном отчаянии сказал:

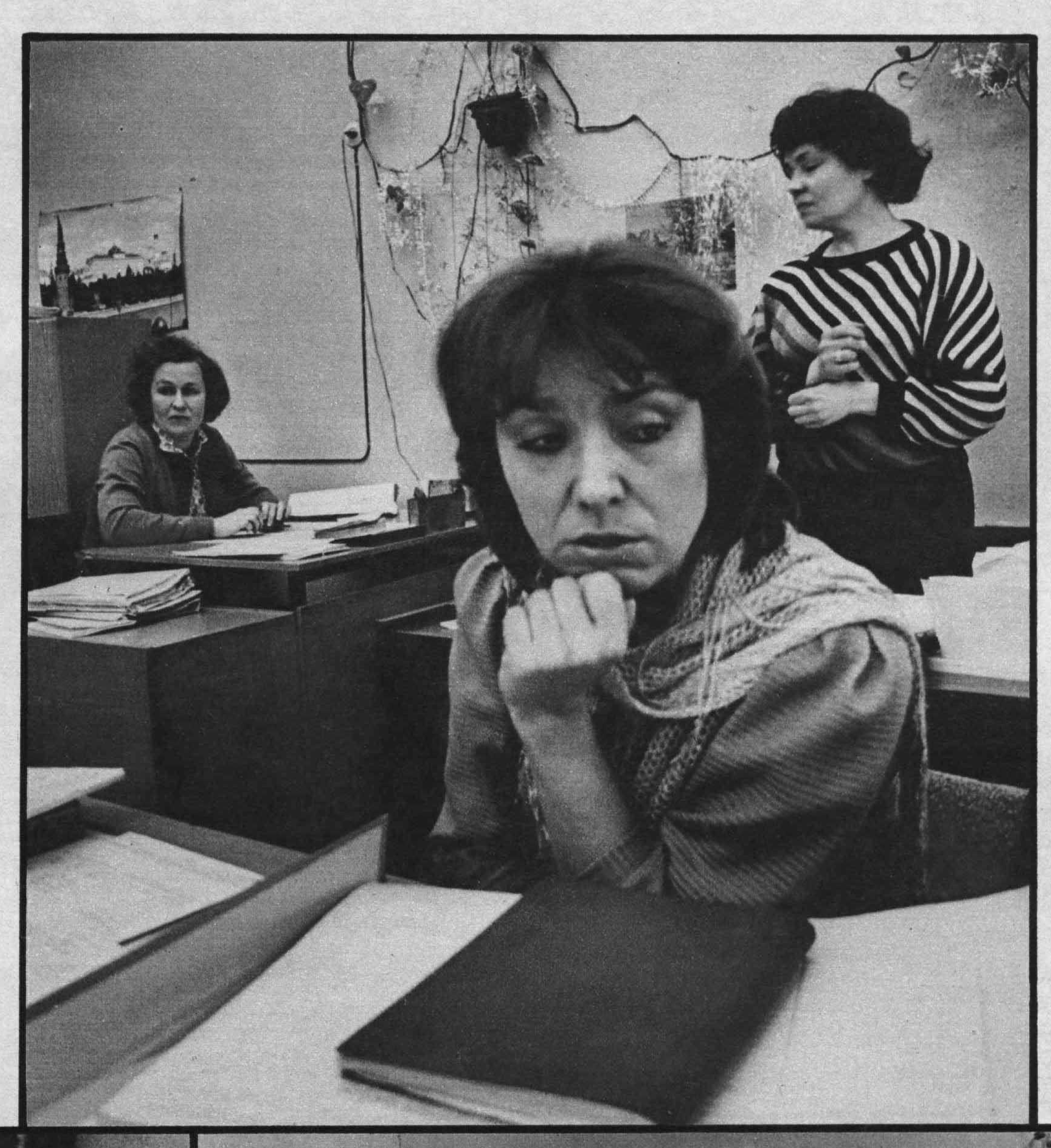
— Часть наших работников должна перейти работать в Госкомнефтепродукты РСФСР. Руководящих должностей, им, конечно, никто предлагать не станет. Для своих сохранят. Стало быть, придется идти в подчинение, да и на меньший оклад. Не исключено на тот самый, который он еще вчера сам и снизил, добиваясь «сверху» сокращения фонда заработной платы. А идти из милости к тому, «над кем» был вчера?..

Оборот из неумирающей лексики канцелярской иерархии. Не приемлет душа чиновника спуска по служебной лестнице. Впрочем, кому охота? Выбирать, однако, можно из немногого. Больше всего повезет тем, кто перейдет в Госснаб СССР, который взял на себя функции упраздненного комитета. Но и там предстоит сокращение на четыре тысячи человек.

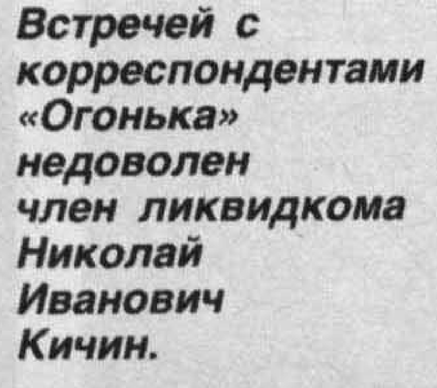
— Понятно, что туда возьмут луч-



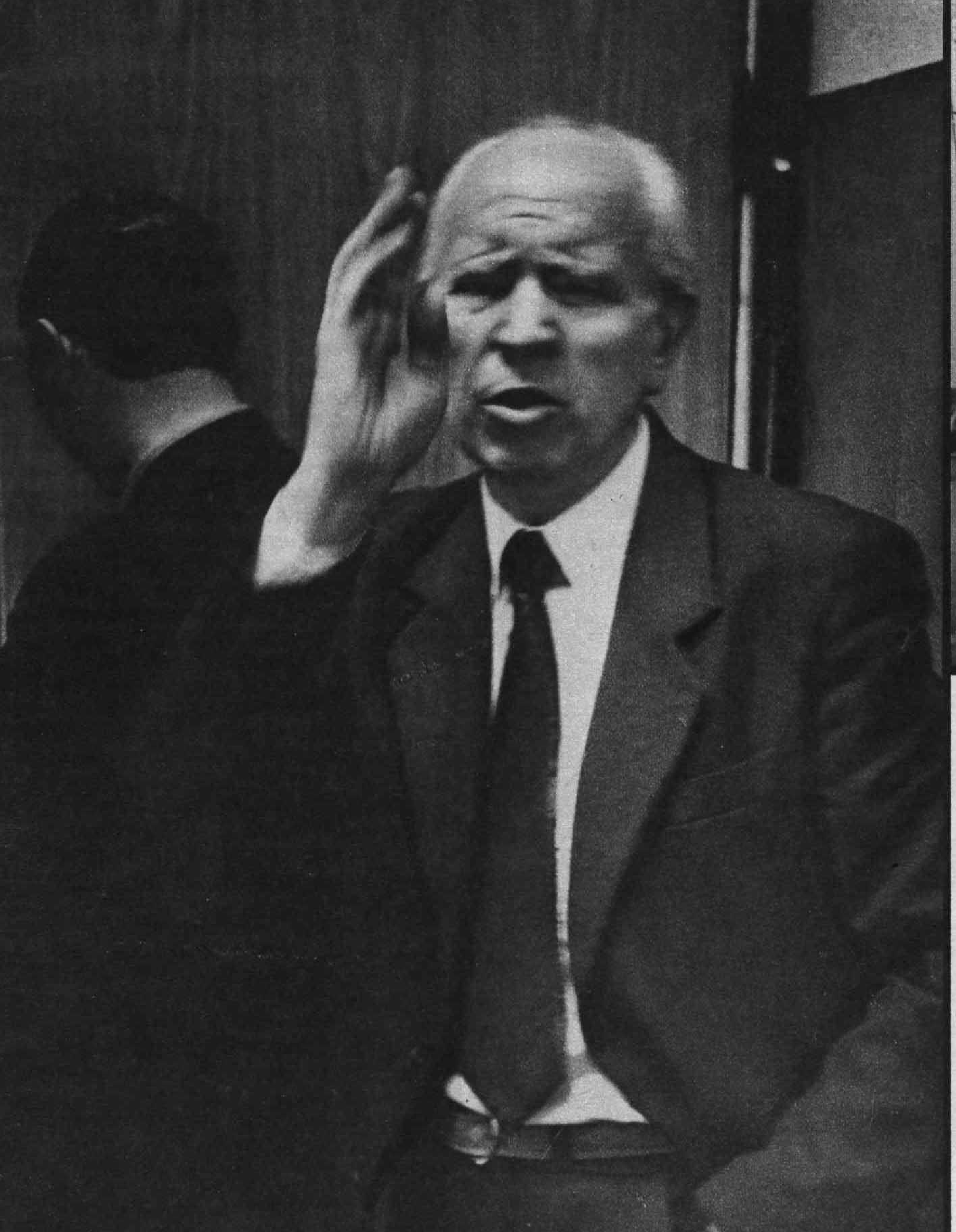
Если людей на месте нет, то, значит, не полагаясь на помощь руководства, они ищут работу сами?



«Сколько стоит опыт? И подлежит ли он уценке?» — размышляет Нина Саввовна Шабельник.



Встречей с корреспондентами «Огонька» недоволен член ликвидкома Николай Иванович Кичин.





— А вдруг звонят по моему назначению?

ших из лучших,— признался начальник управления кадров бывшего ведомства Ю. А. Розанов.

«А в чем критерий их оценки? — готов был у нас вопрос.— Что будет определяющим — деловые качества или личные симпатии?» Но Юрий Александрович словно предвидел это:

— У нас все специалисты высококвалифицированные. Стоило немалого труда собрать их вместе даже за шесть лет. Трудно с ними расставаться, раздавать их в другие организации. Но хозяева положения теперь не мы, а другие. И от них зависит их выбор. Впрочем, начальники наших управлений используют все свои связи, чтобы устроить бывших сотрудников получше...

Заметили? Речь в основном идет о переходе в новую канцелярию. Но не собирается же государство перекачивать чиновников из одного аппарата в другой. Останутся только самые необходимые.

— Сегодня у меня есть еще какой-то запас времени,— сказала начальник отдела расчетов и финансовых операций А. А. Парунова.— И если повезет, найду работу и стану трудиться так же добросовестно, как и здесь. Но сокращение управленческого аппарата начинается повсеместно. И совершенно очевидно, что на новом месте я окажусь первым кандидатом на «выход».



Снова искать место? Перед пенсией? Сомнительно, что я его найду...

— Найти в Москве на производстве свободную должность главного бухгалтера можно,— добавляет начальник отдела учета и отчетности Л. П. Власова.— За себя я спокойна. А вот рядовым сотрудникам устроиться значительно сложнее...

— Я, к примеру, уже несколько раз звонила в организацию, где лежат мои документы на должность бухгалтера,— подтверждает экономист Л. Н. Никитина.— И всякий раз слышала: «Позвоните через недельку...»

Трудно, необычайно трудно сниматься с насиженного кресла, менять метро до службы на две автобусные пересадки. Трудно привыкать к новому коллективу, заново доказывать и утверждать себя. На это и душевные и физические силы требуются. А ведь есть они под спудом. Нерастраченные за однотумбовым столом, неизрасходованные в бумажной переписке.

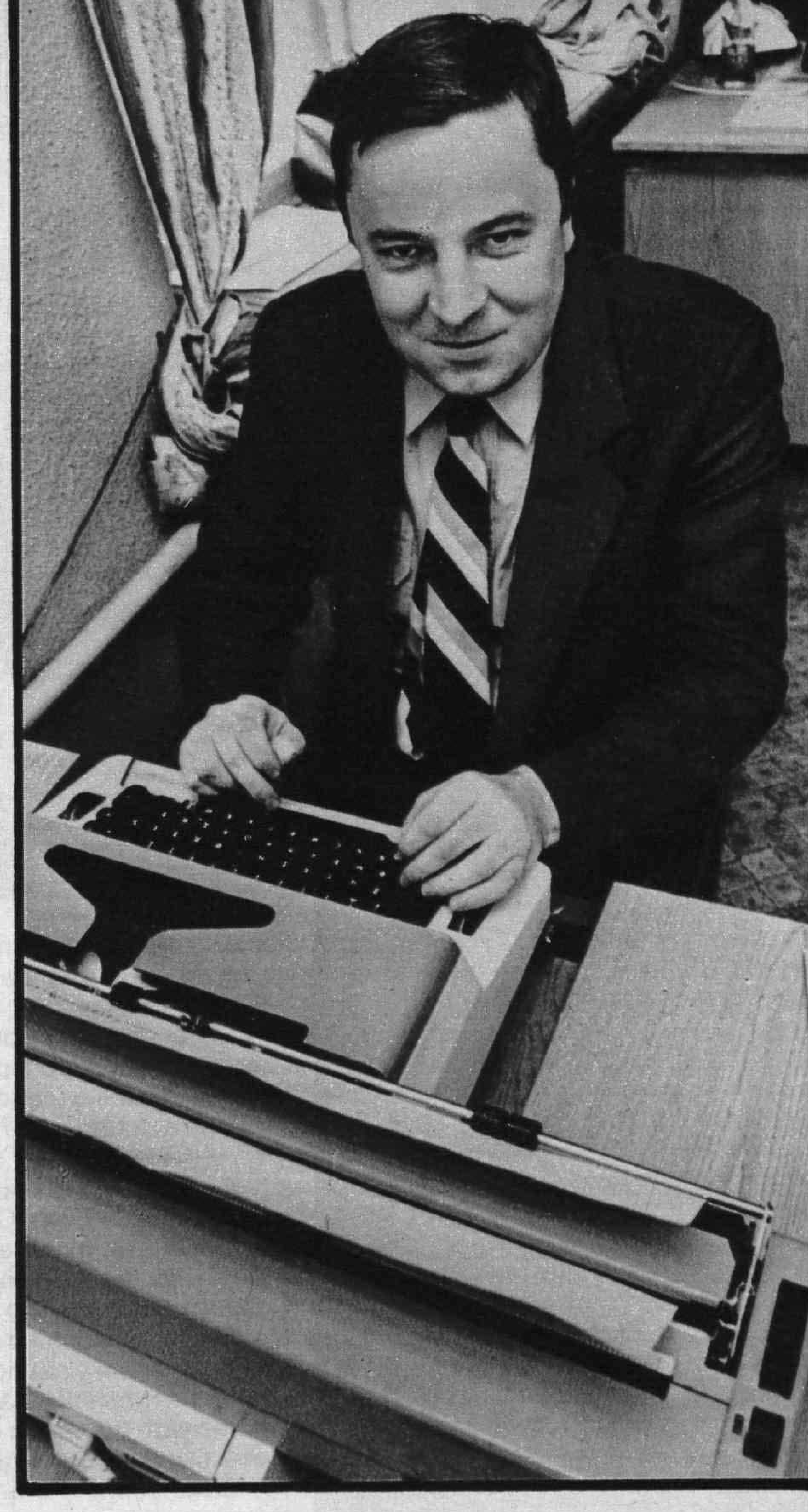
Кстати, при ликвидации пришлось уничтожить более двух третей завалов текущих дел. Так ведь и времени маловато было присмотреться. Глядишь, и больше бы в макулатуру ушло.

Невольно вспоминается недавняя встреча с председателем Госагропрома Грузии Г. Д. Мгеладзе. Он сообщил, что за прошлый год комитет получил 70 тысяч входящих и отправил 270 тысяч исходящих.

— Такое положение просто недопустимо,— сказал Гурам Давыдович.— На весь нынешний год у нас предусмотрен один-единственный документ в несколько страниц. Есть в конце концов личная ответственность хозяина, есть телефон, по которому можно согласовать какие-то вопросы. А за новые и бесполезные бумаги мы будем строго наказывать. И аппарат наш снова будет сокращаться...

Круто? Возможно. Но только радикальными мерами можно вытащить страну из бумажного болота.

— А если опять сокращение?



— У меня все в порядке, получил место в Госснабе СССР,— рад бывший главный механик управления эксплуатации и нефтебазового хозяйства Николай Николаевич Каплун.

ДО СТАРТА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В КАЛГАРИ — СЧИТАННЫЕ ДНИ. КАК ВЫСТУПЯТ ЗА ОКЕАНОМ СОВЕТСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ? ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС НЕЛЕГКО. И НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ПРОГНОЗЫ В СПОРТЕ — ВЕЩЬ КРАЙНЕ НЕНАДЕЖНАЯ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАШИ АТЛЕТЫ ПОСТЕПЕННО УСТУПАЮТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ОДНУ ПОЗИЦИЮ ЗА ДРУГОЙ. ЗАКОНОМЕРНО ЛИ ТАКОЕ ТОТАЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ОНО ВРЕМЕННО И СЛУЧАЙНО? СЛОВО ДОКТОРУ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ СССР, ОЛИМПИЙСКОМУ ЧЕМПИОНУ 1956 И 1960 ГОДОВ, РЕКТОРУ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИНСТИТУТА ФИЗКУЛЬТУРЫ АРКАДИЮ НИКИТОВИЧУ ВОРОБЬЕВУ.

— Аркадий Никитович, мы начинаем наш разговор в канун самого ответственного для любого спортсмена события — Олимпиады. Не правильнее ли было бы дождаться возвращения олимпийцев из Калгари, проанализировать причины их поражений и побед, и лишь затем вынести проблемы советского спорта на всеобщее обсуждение?

— Самое простое — шуметь вдогонку, избивать тех, кого представят виновными в той или иной неудаче олимпийцев. Вспомните, что происходит в нашем спорте: после любой серьезной неудачи начинается не деловой анализ, а разнос «провинившегося» тренера. Достается даже безусловно талантливым людям: Лобановскому или Малофееву в футболе, Тихонову в хоккее, Гомельскому в баскетболе... Список этот можно продолжать, но признайтесь: часто ли доставалось от журналистов руководителям отечественного спорта, тем, кто по своей должности ответствен за весь наш спортивный дом? А много ли было попыток разобраться в состоянии спортивной науки, без которой нынче не угнаться за постоянно прогрессирующими соперниками?

Я считаю — бесконечная игра в молчанку затянулась. Ветры перемен дуют во всех областях нашей общественной жизни. Во всех, кроме спорта. Не сочтите меня нескромным, но полагаю себя достаточно потрудившимся во славу страны для упрочивания авторитета советского спорта.

За семидесятые и восьмидесятые годы наметилось снижение результатов советских атлетов сразу в восемнадцати видах спорта. Есть этому явлению несколько причин. Основная из них: мы не используем как нужно культуру тренировок. К сожалению, над тренерами и спортивными организаторами довлеет консерватизм в мышлении, слепое преклонение перед догмами в организации тренировочного процесса.

— После войны было не до методик тренировок, но дебют наших атлетов на Олимпиаде в Хельсинки оказался удачным. И послевоенное поколение добивалось впечатляющих побед. Что же случилось потом?

— В какой-то момент пришла самоуспокоенность. Получила распространение такая теория: Советский Союз — страна большая: талантов и так много. Главное — разыскать чемпионов. Не взрастить, следуя новейшим разработкам в тренировках, а именно найти самородка, отправить его на турнир. А там, глядишь, медали посыплются градом. Я умышленно утрирую. Былые достижения в спорте объясняю главным образом развитием за счет экстенсивных факторов — привлечением значительных материальных и людских ресурсов. Это страшно дорогой способ удержать на плаву большой спорт. Дорогой и крайне неэффективный.

С КАЖДЫМ ГОДОМ ОТСТАЕМ?

— Не потому ли с нами на равных конкурируют команды из стран, по потенциальным людским и материальным ресурсам в десятки раз уступающие нам, но придерживающиеся передовых, прогрессивных методов подготовки спортсменов?

— Все правильно! Теоретические ошибки — это проблемы не только теории спорта. Они теснейшим образом влияют на практическую деятельность, тренировочный процесс, результаты спортсменов на соревнованиях. Возьмем хотя бы виды спорта, в которых уже более 30 лет мы терпим неудачу за неудачей: бег на средние и длинные дистанции и футбол. Фактически после В. Куца и П. Болотникова советские бегуны — стайеры никогда не добивались успеха. А футболисты? Победили в 56-м на Олимпиаде в Мельбурне и в 60-м на Кубке Европы во Франции. Все...

А теперь вспомним, в чем «нашли» причины поражений специалисты? В малом объеме тренировок, различных организационных и субъективных факторах. В футболе десятки раз меняли формулу первенства страны, как колоду карт тасовали наставников. И что же? Договорились до того, что десятое место на мексиканском мировом первенстве посчитали чуть ли не победой! Тренеры буквально захлебываются псевдоспортивной терминологией: «база спортивной формы», «запаздывающая трансформация», «переход объема тренировочной работы в спортивные результаты через длительный период времени»... Все это словесная шелуха. Следует задуматься над глубинными причинами неудач, а именно над теоретическими посылками, качественным анализом тренировочного процесса.

— Расскажите конкретно: кто автор неудачной, на ваш взгляд, концепции?

— Уточню: имею в виду «теорию периодизации», то есть разделение тренировочного годового цикла на подготовительный, соревновательный и переходный периоды с различными для спортсменов нагрузками, не соответствующими развитию физических качеств, условиям турниров. Последние тридцать лет очень активно эту теорию развивает профессор Л. П. Матвеев. Ничего о нем как о человеке плохого сказать не могу. Но он написал несколько книг, связанных с теорией тренировок. Он сам не был спортсменом, не знает «кухни» большого спорта, но всегда находился при спорте. Люди могут добросовестно заблуждаться, и Матвеев как раз относится к их числу. Он выдвинул ряд положений, идущих вразрез не только с практикой спорта, но с физиологическими закономерностями развития человека. Например, неверен его тезис о том, что, применяя неадекватные соревновательной практике нагрузки, можно добиться весомых результатов через несколько месяцев. Иными словами, Матвеев утверждает: за год атлет может выйти на пик формы лишь 2—3 раза, так как в подготовительный период (а он длится порой полгода) невозможно добиться рекордов.

Очевидно, болельщики обращают внимание на то, как часто после неудач объяснение им находят в пресловутом «пике спортивной формы», который якобы был достигнут либо раньше, либо позже важнейшего состязания. Но ведь известно, что у выдающихся атлетов этот пик длится не одну-две недели, а несколько месяцев. Невозможно выступить на Олимпиаде или первенстве мира успешно, если им не предшествовали успешные выступления в пяти-шести турнирах.

Поэтому не удивляюсь, что советские бегуны на средние и длинные дистанции показывают достижения международного уровня всего 1—2 раза в году. Выдающиеся же зарубежные бегуны — десятки раз, причем в течение 9—10 месяцев. Знаменитый Х. Роно за год 22 раза выступал на рекордном уровне. В апреле он установил рекорд мира в беге на 5000 метров, в мае — мировой рекорд на 3000 метров с препятствиями, в июне рекорд мира на 10 000 метров. И в июле, августе и сентябре Роно показывал выдающиеся результаты на любых дистанциях. Исключение из правил? Нет! Напомню долго не знающих поражений американцев Льюиса и Мозеса, конькобежек из ГДР Энке и Роттербургер, футбольные клубы «Ливерпуль», «Бавария», «Ювентус»...

Естественно, за рубежом господствует теория, гласящая: к рекордам на соревнованиях можно прийти только через рекорды на тренировках.

— А проверяли ли ученые качество тренировочного процесса у наших спортсменов? Если да, то что показали подобные исследования?

— Конечно, проверяли! Например, комплексные бригады МОГИФКа побывали у футболистов московского «Торпедо», «Шинника», воронежского «Факела». Оказалось, только в 10, в лучшем случае 30 процентах в тренировках имитируются и отрабатываются действия и навыки, характерные для соревнований. Каким же образом можно подготовиться к решающим матчам, если характер тренировочной нагрузки не соответствует требованиям упорной, изнуряющей борьбы? Отсюда несовершенная техническая, тактическая и психологическая подготовленность наших спортсменов. А мы потом удивляемся: чего это вдруг «скисла» сборная СССР в решающем поединке с поляками в 1982 году в Испании или в игре с бельгийцами в Мексике. Не случайность это, а закономерность. И вовсе не судьи, неровное поле или климатические условия в этом повинны. Пора, давно пора это понять.

Не буду вдаваться в другие научные дебри: любителям спорта они неинтересны. Поверьте на слово: ошибочных положений в нашей общепринятой теории спорта больше чем достаточно. Почему она победила другие теории? Не зря мы говорим: спорт — это модель жизни. И явления, характерные для общества в целом, тут же отражаются на делах спортивных. Господствовали ведь экстенсивные тенденции в развитии нашей экономики. Они же стали главенствующими и в спорте. Такой факт: учебники для институтов физкультуры содержат немало ложных постулатов. За 30 последних лет учебные пособия по содержанию мало чем изменились. В них отсутствует даже упоминание о других теориях.

— Аркадий Никитович, вы упрекаете научных оппонентов в отсутствии практического подтверждения их моделей. А разработал ли сам профессор Воробьев методику тренировок? Есть ли у этой методики последователи?

— Есть не только последователи, но и достаточно убедительные результаты, но не мне давать оценку итогам собственного труда. Сторонниками прогрессивной методики тренировок являются не только тренеры в периферийных городах. Ее придерживаются наши метатели молота во главе с Бондарчуком, знаменитый баскетбольный наставник Гомельский... Беда, что новаторов у нас не так много. А за рубежом мои взгляды разделяют наставники болгарских тяжелоатлетов, конькобежцев ГДР...

Очень сильно развитию нашего спорта мешает то, что почти треть спортивных руководителей на уровне городских и областных спорткомитетов не имеют специального спортивного образования и малейшего отношения к спорту. Естественно, незнание дела ведет к ошибкам. Полагаю, ни у кого не возникает желания назначить главврачом клиники человека, не имеющего медицинского образования. А в спорте можно.

А вот пример из большого спорта. Мы всегда имели раньше медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. На Белых Олимпиадах 1972, 1976, 1980 годов из 21 золотой медали, разыгранной в лыжных гонках, наши спортсмены выиграли 13. То есть больше, чем все остальные страны, вместе взятые. Все эти годы с лыжниками работали тренеры В. Каменский, В. Иванов, Б. Быстров. Но после неудачи в олимпийском Сараеве, в чемпионате мира-85 в Зеефельде весь тренерский коллектив освобождается от работы. На их место пришли новые люди, пообещавшие «золотые горы». Однако через год и их заменили...

А прыжки на лыжах с трамплина? В. Белоусов в 1968-м стал олимпийским чемпионом. Спустя два года на первенстве мира отличился Г. Напалков. На протяжении многих лет сборной руководил один тренер — А. Григас. Потом же тренеры стали меняться как перчатки. Не вспомнить всех, кто побывал за последние годы на посту главного тренера горнолыжной сборной. А в минувшем году вообще не было старшего тренера, да и сборная существовала только на бумаге.

Очевидно, что за год-два невозможно поднять какой-либо вид спорта, подготовить команду, способную спорить за лидерство. На это, как показывает практика, необходимо, как минимум, года четыре. На мой взгляд, любой вновь назначенный тренер должен иметь гарантию, что при первой неудаче его не «снимут», не поменяют на другого, сулящего град медалей. Нельзя пробрасываться людьми, а неожиданные, необоснованные снятия — страшный удар для любого человека.

Сейчас в сборные стали возвращать старых тренеров. Иных — с повышением. Может показаться, что изменилась кадровая политика? Не думаю. Просто лихорадочно делаются попытки исправить положение. Оно ведь далеко не блестяще: за прошлый зимний сезон на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах советские спортсмены завоевали всего пять золотых медалей из 46. Это провал.

Еще раз повторю, впечатление, что гласность не коснулась «запретной зоны» спорта. Происходит удивительная вещь: любого, кто покритикует действия Госкомспорта или расскажет о негативных явлениях в спортивной среде, мгновенно обвиняют в собирании слухов, в подглядывании в замочную скважину. В «Советском спорте» появляются гневные отповеди «ослушникам». Такое впечатление, что некоторые руководители нашего спорта просто боятся конкретной, деловой критики. Воспринимают ее как личное оскорбление, ущемляющее их престиж. Но критика сегодня — норма нашей жизни. Она помогает решать проблемы.

В погоне за медалями, очками, рекордами мы стали забывать о самих спортсменах. К примеру, атлет уходит из спорта. Что ему делать? Дело даже не в том, куда ему устроиться на работу. Совершенно не разработан социальный статус спортсмена в нашем обществе. Спортсмен интересует руководителей лишь тогда, когда приносит зачетные очки и медали. Потом он словно вычеркивается из круга забот. И назначением пенсии здесь нельзя ограничиваться. Ученые открыли, что у атлетов, постоянно работающих с максимальными нагрузками, иммунитет снижается. Прибавьте сюда колоссальное нервное напряжение, сопутствующее соревнованиям. Уже не удивляет никого следующий факт: у девушек, занимающихся спортом высших достижений, половое созревание наступает на пару лет позже, чем у сверстниц. Я изучал продолжительность жизни тяжелоатлетов. Она значительно ниже, чем средняя по стране, особенно у тех, кто становился чемпионом мира и Олимпиад: всего 48,7 года. Есть люди, ушедшие из жизни даже в тридцать...

— Как известно, в зарубежной прессе много пишут о допингах. И наша печать затрагивает эту тему. Эффективно ли ведется борьба в нашей стране со всякого рода запретными препаратами?

— Давайте сразу внесем ясность: соперники советских атлетов активно используют как гормональные, так и другие средства, запрещенные в том числе. Естественно, наши спортсмены стараются не отстать от них. И неоднократно попадались на допинг-контроле. С точки зрения чистоты спорта, с точки зрения морали, с допингами нужно бороться исключительно активно. Но многих прельщает сравнительно быстрый путь к успеху.

В 1987 году изобличены, например, в применении допинга два наших тяжелоатлета. По правилам международной федерации теперь атлетов тестируют не только на соревнованиях, но и в период подготовки к ним. Анализы были взяты у четырех спортсменов. В итоге — два положительных результата... Так что я не могу сказать, что борьба ведется с этим злом у нас достаточно успешно. Готовился даже указ о привлечении к уголовной ответственности тренеров, рискнувших применить допинговые препараты на детях. А случаи «детского допинга», увы, еще встречаются. Здесь нужны архирешительные меры.

Ну и в заключение несколько слов. Не разделяю точку зрения, что у нас дела со спортом так уж плохи. По большинству видов мы в лидерах мирового спорта. Но наши возможности, в том числе социальные, материальные, кадровые, научные, дают основание надеяться на резкое улучшение положения дел в большом спорте.

Предвижу, что мое интервью может вызвать поток писем с несогласием, опровержениями, протестами... Я далек от убеждения, что во всем прав. Прогресса в спорте, без столкновений мнений, пусть даже в острой форме, достичь сейчас невозможно.

Беседу вел Александр ЧУРКИН.



ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ ЧЕРВОНЦЫ • В УРОЧНЫЙ ЧАС У МАГАЗИНА • «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» В МАСШТАБЕ • ГДЕ ХЛЕБ, ГДЕ МЯКИНА •

■

О героях надо говорить во весь голос, писать о них, снимать фильмы. И не забывать. Как забыли моего земляка Героя Советского Союза летчика-истребителя Захара Сорокина. Он был подбит в бою над оккупированной врагом территорией, сумел уйти от погони, отстреливаясь из пистолета, добраться до своих. А потом, после сложнейшей операции и ампутации обеих ног, снова воевал (на протезах!) и сбить еще двенадцать самолетов противника. Это имя даже мне, ветерану ВВС, до последнего времени не было знакомо. По одним рассказам летчик Захар Сорокин погиб, по другим — он живет и сегодня.

Но даже если это не так, живут где-то его родные, однополчане, которые могли бы с помощью журнала рассказать о подвиге этого человека, истинном герое нашей страны.

А. Д. ДВОРКИН,
участник
Великой Отечественной войны,
ветеран труда,
кавалер 17 государственных наград
Москва.

■

Прочитала статью «Проблема соски, бутылочки и детского меню...» и решила написать, чтобы помочь кому-нибудь из молодых мам. Дело в том, что у нас в Минске на прилавках магазинов постоянно есть сухие молочные смеси «Малютка», «Малыш», «Детолакт», бывают и импортные. В аптеках есть соски, бутылочки и пустышки. Передайте мой адрес нуждающимся мамам, и я обязательно помогу.

Мне 26 лет. Ребенку 1 год. И у меня просто душа болит, когда узнаю, что в каком-либо городе совсем маленький человек не может иметь необходимых для него вещей.

Катерина ГУРИНА
Минск.

■

Прошу опубликовать мое письмо, под которым могли бы поставить свои подписи многие наши старухи. Дело в пенсиях, которые по закону мы должны получать, но не получаем или получаем такие мизерные, что приходится подрабатывать.

У меня восемнадцать лет рабочего стажа, а пенсии я лишена. Возможно, каких-то условий «по бумагам» я и не выполнила, но если закон стоит на страже бумаг, а не людей, его надо менять. Надо начислять пенсии за отработанные годы и с учетом обеспеченности человека. Надо обязательно учитывать, что люди, не имеющие полного рабочего стажа по разным житейским обстоятельствам, все эти годы работали. Например, растили малолетних детей. Без всяких дотаций со стороны государства, но с прерыванием этого самого рабочего стажа.

Так, может, сейчас, когда для молодых матерей и материальная помощь, и время по уходу за ребенком до полутора лет идет в трудовую книжку, то и нам, идущим на пенсию по возрасту с неполным стажем, тоже надо добавить годков по числу воспитанных детей? Ведь мы в гораздо более трудных условиях растили своих детей — будущее нашего общества. Так почему же для молодых, подпертых помощью со всех сторон, все льготы, а для нас, проживших тяжелейшую жизнь с войнами, горестями и болячками, никаких льгот нет? Или мы свое дело сделали, и теперь нас можно списать?

Нет, думаю я, такое положение вещей несправедливо, оно подрывает авторитет нашего гуманного государства.

Т. С. БОНДАРЕНКО
Ульяновск.

■

Хотим откликнуться на письмо Кузнецовой из Челябинска, которое опубликовано в конце прошлого года на полосе «Слово читателя». Она пишет о двух своих сыновьях, о старшем, который отслужил в восемьдесят втором, и младшем, который должен вернуться из армии этой весной, о бесчувственных и издевательских действиях старослужащих солдат по отношению к молодым воинам. Нам, бывшим военнослужащим, а ныне рабочим ВАЗа, есть что сказать по этому поводу.

Один из нас служил в Афганистане, другой в ГДР, мы дружим с другими молодыми рабочими автозавода, которые плавали на кораблях по морям и океанам, еще недавно были танкистами, связистами и так далее, так вот мы не согласны с теми, кто поднимает разговор об армии, не имея никакого отношения к воинской службе, не имея представления о солдатских буднях.

Мы считаем, что на службе должна проявляться жесткость старослужащих по отношению к молодым солдатам. Когда парень приходит на службу хлюпиком, не стараясь делать все быстро, четко, в срок, не умея пришить оторвавшуюся пуговицу, он должен получить урок. Командиры и политработники подразделений не в состоянии уследить за каждым солдатом в отдельности и только благодаря «старичкам» поддерживают настоящий воинский порядок.

Бывает, для того, чтобы «молодой» понял тонкости службы, приходится применять жесткие меры, но как из него по-другому выбить «цпанский» образ жизни, лень, несобранность? На этот счет можно много говорить, но вот позвольте обратить ваше внимание на те слова, которыми обмениваются обычно матери ребят, только что закончивших службу в армии. «Вы посмотрите только, каким вернулся мой сынок: подтянутым, аккуратным, поздоровевшим»,— говорят они. А спрашивается, кто из сыночка сделал воина? Да те же «деды»!

В. Т. АРСЕКИН, Н. И. БЕДНЫЙ
Тольятти.

■

От имени сотен бездействующих, но мечтающих принять участие в перестройке инвалидов-специалистов прошу обратить внимание на вполне реальную угрозу расформирования единственной в Москве, а возможно, и в стране организации, применяющей труд инвалидов с высшим и среднетехническим образованием.

Специализированное отделение работников-инвалидов института Росгипроместпром Министерства местной промышленности РСФСР является прямым потомком артели «Инжтехпомощь», созданной еще по инициативе Н. К. Крупской специально для трудоустройства инвалидов разных технических специальностей.

В 1959 году, когда я вступила в артель, в ней было 15 отделов и работало примерно 600 инвалидов, составлявших более 80 процентов всех работавших.

Потом число отделов было сокращено до 9, а число работников-инвалидов — до 300.

В 1966 году контора была передана Министерству местной промышленности РСФСР, которое, в обход запрета создавать в Москве новые проектные организации, образовало на базе конторы и на ее площадях институт Росгипроместпром, включающий специализированное отделение работников-инвалидов. Осталось лишь 5 отделов, число инвалидов сократилось до 180.

Всячески козыряя нуждами инвалидов перед вышестоящими организациями, руководство института на деле разваливало отделение.

Сейчас в отделении работает только 100 инвалидов и около 150 здоровых.

Несмотря на все это, отделение остается самоокупаемым, зарабатывая на договорах со сторонними организациями и не получая государственных дотаций. Большинство инвалидов — сдельщики, работающие на дому. Большинство имеет высшее или среднее техническое образование и большой опыт работы по специальности.

Министерство местной промышленности РСФСР, исходя из чисто ведомственных интересов, но под лозунгом перестройки и сокращения кадров подготовило проект приказа о закрытии нашей организации с передачей части отделов другим своим учреждениям. В институте Росгипроместпром остается только один отдел инвалидов — проектный, с лишением статуса и льгот инвалидной организации.

Неужели кому-то выгодно, что инвалиды с образованием будут только клеить конверты, нанизывать бусы или плести сетки? Но ведь мы стремимся стать полноправными членами общества, оправдать свою жизнь и образование, отдать знания, опыт, оставшиеся силы на общее благо.

Сейчас время создавать новые организации с плановым трудоустройством инвалидов, а не уничтожать последнюю из них!

Э. В. ДАНИЛОВА,
архитектор,
инвалид 2-й группы

■

Заряд положительных эмоций от путешествий советских граждан за границу был бы гораздо большим, если бы в значительной мере не ослаблялся отрицательными чувствами. Их можно определить таким понятием, как «оскорбление недоверием».

Это прежде всего касается самой организации группового туризма, которая остается незыблемой в течение десятилетий (я езжу за границу в таком «режиме» с 1969 года).

19 ноября 1987 года участники поездки киевской туристической группы на Кубу были приглашены на инструктаж в горсовпроф, где представитель отдела иностранного туризма тов. Басанин Б. А. перечислил нам правила поведения в основном запретительного характера: «не говорить о работе», «не вступать в разговор с иностранными гражданами по своей инициативе», «не брать с собой адресных книжек», «не брать с собой что-либо для передачи другим лицам», «не менять на валюту 30 руб. (3 червонца), которые нужно провезти туда и обратно», «не употреблять спиртное» и т. д.

Затем нам был представлен наш руководитель. В своей речи перед группой он заявил, что ему будет известно буквально все о поведении каждого из нас и что в своем итоговом отчете он даст оценку каждому...

Согласитесь, что в таких условиях ехать в отпуск за свои кровные 1000 рублей в дружественную страну, мягко говоря, не очень приятно. Быть запрограммированным страхом чем-то не понравиться групповоду, быть все время под надзором — аморально, стыдно, унизительно!

На итоговом собрании группы были зачитаны оценки, выставленные нашим групповодом. Тем, кто получил «минусы» (в том числе и я), было объявлено, что это была их последняя «загранка». Что ж, может, оно и к лучшему? Не будет больше желания и возможности вновь подвергаться унижениям.

А может, перестройка и демократизация коснутся когда-нибудь и туризма и перед нами вновь загорится «зеленый свет»? А у иностранцев не будет складываться весьма неблагоприятный образ советского человека: неимущего, ограниченного, запуганного, падкого на всякую дешевинку... Увы!

В. З. АНТОНИШИН,
член КПСС,
ветеран Великой
Отечественной войны и труда,
инженер-радист
Киев.

■

Я был призван в армию в 1940 году, служил в 40-й ордена Ленина стрелковой дивизии имени Орджоникидзе. Прежде чем отпустить в увольнение, да не в город, а в село, старшина Бырдин (на всю жизнь его запомнил) выстроит нас и, если заметит небрежность, отправит к командиру отделения учиться подтягивать ремень. И никаких увольнений, разумеется. Когда вижу расхлябанного солдата в городе, то думаю: из плохой части он, если командиры не обращают внимания на внешний вид, а значит, на воспитание. Я не за палочную дисциплину, я за строгий, как и положено по уставу, внешний вид военнослужащего. Не начинается ли с этого на первый взгляд ма-

лого нарушения в армейской службе явление, известное под словами «неуставные отношения»? Ведь порядок в армии — обязанность командиров.

Н. А. ПИСКУНОВ,
участник Великой Отечественной войны
Херсон.

■

В Старопромысловский райком партии г. Грозного четырежды (!) в течение четырех месяцев поступали бумаги на официальных бланках. Трижды из прокуратуры — о том, что расследуется уголовное дело на Р. Башияна, начальника автоколонны № 1737. Цель указана: «Представляется необходимым принятие предупредительных мер партийного характера». Похожий «сигнал» из милиции был составлен в более категоричном тоне: «Сообщается для сведения и решения вопроса о пребывании Башияна в рядах КПСС и на занимаемой должности». Жесткий прессинг в конце концов подействовал: персональное дело коммуниста Башияна, строгий выговор с занесением, снятие с работы.

Однако выяснилось — нет состава преступления! Но проинформировать райком об этом прокуратура и милиция «забыли». А как быть Р. Башияну, по сути, ошельмованному? Обвиняли громко, всенародно, а вот восстановить доброе имя не могут уже три с лишним года.

Впрочем, я отвлекся от главной темы своего письма. Кем-то когда-то был брошен волевой тезис: настоящий коммунист не может быть под следствием! Мы знаем теперь: случается такое, и нередко. Знаем и другое — следственные органы от ошибок не застрахованы. Почему же и сегодня живет эта странная тенденция: человек заподозренный в партии быть не может? Ведь далеко не всегда подозрение завершается вердиктом «виновен».

Информировать партийный комитет о проступке коммуниста должен только суд, да и то после вступления приговора в законную силу. Ибо только суд — заключительное звено в правовом производстве — называет человека преступником.

П. МИТИН,
журналист

■

У меня такой вопрос: когда же кончатся эти безобразия, кому можно доверять в этой жизни? Милиции, прокуратуре, судьям? Открываю газету, а там сообщают, что у мастера, она же народный заседатель суда, на проходной изъяли три килограмма сгущенки, один килограмм сливочного масла, 320 кексов, 15 тортов (наверное, в виде порошков). И это один человек, которому коллектив доверяет. Сколько же ценных продуктов в тоннах выносят другие? И только на одном предприятии в г. Казани, а если посчитать в других городах России? Вот бы экономисты взялись и подсчитали, сколько выносят со всех предприятий только за одну смену. Интересная бы цифра получилась.

А взять нашу Астрахань. Даже на базаре не всегда можно найти мясо, зато водку по 20—25 рублей — в любое время. Вы посмотрите, что творится около винного магазина в районе толкучки в конце рабочего дня. Спекулянты разбирают все ящиками и тут же увозят на своих машинах, а милиционеры присматривают «за порядком».

Обо всем этом и других преступлениях, видимо, хорошо знают в областном управлении внутренних дел...

Н. В. ГОЛИКОВ,
ветеран войны и труда
Астрахань.

■

Писатель Петр Проскурин в интервью газете «Книжное обозрение» (№ 4, 22 января 1988 г.) говорит, что сейчас стало модным обращаться к фигуре Сталина и что он убежден: за такие колоссальные фигуры должны браться люди огромного художественного дарования типа Шекспира или Достоевского. Мысль вроде бы бесспорная. Конечно, хорошо бы... Но возникает несколько вопросов. Во-первых, скоро ли они, эти люди дарования, должны появиться? Со дня смерти первого, например, прошли века. Я уже не говорю о том, что новый Шекспир, возможно, тоже будет англичанином и возьмется исследовать более близкую ему фигуру Черчилля, а наш Достоевский вообще тяготел к «маленькому человеку», и фигура масштаба Сталина его вряд ли заинтересует.

Вскоре после смерти генералиссимуса перед нами, студентами Киевского университета, выступал Константин Симонов. Его спросили, будет ли он писать о Сталине. Помню, писатель ответил, что все, по его мнению, кто знал Сталина, непременно об этом расскажут, но нужен новый Толстой, чтобы все это обобщить.

Вся жизнь моего поколения прошла в этих ожиданиях. Не хочется, чтобы такая же участь постигла и следующие. Я далек от того, чтобы сегодня объявить Тенгиза Абуладзе Шекспиром, а Анатолия Рыбакова — Достоевским. Но если первого смотрят миллионы, а второго миллионы читают — не значит ли это, что их взгляды совпадают с многомиллионной аудиторией? Вот она и разберется, что к чему. Эта самая аудитория, за объективность которой ратует и П. Проскурин.

Владимир ДОБКИН,
журналист
Москва.

■

20 ноября прошлого года наша местная газета «Волжская коммуна» напечатала письмо гвардии капитана в отставке, участника Великой Отечественной войны А. Шамарова о бедственном положении нынешнего госпиталя для инвалидов войны и о многолетней волоките со строительством нового госпиталя, который должен быть построен на средства, заработанные на коммунистическом субботнике еще десять лет назад.

Частный случай, но давайте посмотрим, как в нем отразились очень многие пороки теперешней жизни. Вопрос первый: где «висели» эти заработанные на коммунистическом субботнике долгие десять лет деньги? Вопрос второй: догадываются ли товарищи, от которых зависело включение госпиталя в план строительства, что они должны не только «занимать» свои должности, но еще что-то и делать? Вопрос третий: обратили ли внимание уважаемые ветераны войны, что последние десять лет в нашем городе бурными темпами велось строительство уникальных по дороговизне административных зданий, по роскоши не уступающих храму Христа Спасителя, который тоже был построен на народные деньги?

Почему никто за это не отвечает? Почему нас ставят перед свершившимся фактом?

Вы знаете, меня легко убить одним щелчком: злопыхатель, завистница! Но это неправда. Я считаю, что каждый человек знает, чего он стоит. И наш народ воздавал всегда должное таланту, красоте, трудолюбию. Так что не чувство зависти просыпается в людях, когда они видят, куда идут их, народные, деньги, а чувство попранной справедливости: Если бы нас спросили, на что истратить десять миллионов заработанных нами рублей, мы отдали бы их на госпитали и пансионаты для ветеранов, на больницы и дома для детей. Мы бы построили на берегу Волги великолепное здание, но отдали бы под университет, и в нем учились бы наши дети и внуки.

Ф. Ю. ЮРИНА
Куйбышев.

■

Чай черный № 300. Что сие за продукт? А № 400? Или «Чай популярный»?.. Что это за смеси? И сколько в них, к примеру, витаминов, кофеина и прочих небезразличных для организма человека веществ? Ведь все потребительские сведения можно поместить на фабричной упаковке товара — места там обычно предостаточно. Можно, но не делается.

Говорят, что нынешние вареные колбасы — все на один вкус, вернее, «невкус». А все-таки, что это за колбаса такая — «Молодежная»? Пенсионерам, скажем, ее употреблять можно? А «Российская»? «Крестьянская»? Что в них, извините за выражение, наложено? А ведь их состав тоже мог стать достоянием гласности. Достаточно воспроизвести его на полимерной оболочке по соседству с названием...

Хлебобулочные изделия. Специалисты утверждают, что при их выпечке может быть «задействовано» более двух десятков различных составляющих. Как выразился в свое время один из ученых, хлеб можно употреблять в любое время дня, в любом возрасте, в любом настроении; он является причиной и хорошего, и плохого пищеварения. Что в немалой степени зависит от того, из чего он приготовлен, какова его рецептура.

Будучи за рубежом, приходилось встречать листовки, плакаты, рассказывающие о том или ином сорте хлеба, какова его пищевая ценность и кому он рекомендуется. В наших же магазинах, если и появляется аналогичная информация, то скорее как документ, оправдывающий подорожание, а отнюдь не в просветительских целях (как случилось при нашумевшем переходе на так называемые улучшенные сорта хлеба). Как будто покупателям «все едино, что хлеб, что мякина». Не здесь ли кроются истоки встречающегося неуважительного, небережного отношения к хлебу?

Так что же мы едим? Может быть, пищевики станут информировать нас об этом?

Г. А. ПУШКАРЕВ,
конструктор
Свердловск.

■

Всем сердцем приветствуя проявление гласности в стране, которая дорога мне как Родина моего отца и моего мужа, я хочу поделиться некоторыми частными впечатлениями.

Неподготовленность к обычным формам демократии зачастую может оборачиваться самым непредсказуемым образом. В этот приезд, связанный с 50-летием Владимира Высоцкого, к радости от проявлений всестороннего признания поэта примешивалось чувство горестного недоумения, вызванного доходящими до кликушества выступлениями, интервью и статьями многочисленных «друзей» и зачастую тех самых людей, которые при жизни отказывали Высоцкому даже не в признании, а в элементарном уважении.

Эти люди мелькают на экранах телевизоров, сидят в президиумах вечеров памяти, где из скромности не появляются его истинные и старые друзья и, стесняясь всеобщего ажиотажа, избегаю присутствовать я. А один из таких лжедрузей, запятнавший себя предательством после смерти Володи, не постеснялся опубликовать пьесу и, более того, защищаясь от упреков в газете, посмел сослаться на мою книгу о Володе.

Печально также, что без моего согласия и вопреки сделанному уведомлению несколько газет напечатали главы из нее. Напечатали тенденциозно, то есть в меру своего понимания ситуации, исказив сокращениями и перестановками абзацев смысл и общую интонацию книги, что дало повод многим читателям негодовать и недоумевать задолго до ее появления.

Через ваш уважаемый и популярный журнал я хочу еще раз уведомить всех, что публикация возможна только в том издательстве, с которым я буду связана официальным договором.

Ибо как ни приятны справедливые, но посмертные почести Владимиру Высоцкому, лучшей памятью о нем будет правда и только правда.

Марина ВЛАДИ

■

Не думала я, что «Огонек» может обидеть тех, кто кровью и потом заработал уважение и почести, кто всю свою жизнь отдал производству. Обида моя на В. Аграновского, на его статью «О звездах, подвигах и славе» (№ 48).

На Ореховском хлопчатобумажном комбинате я проработала 46 лет. Всю войну наши текстильщики и я тоже (работала поммастера, мастером) не отходили от станка по 12—14 часов в сутки, а после смены шли в госпиталь. Мы заменили ушедших на фронт и ни на минуту не останавливали производство. А послевоенное время? Оно было не легче. Страна оценила наш труд, наградив орденами и медалями. У меня два ордена, я ношу их с гордостью, в них мои старания и заслуги. С гордостью надевают награды и другие текстильщики.

Не надо было В. Аграновскому слушать только завистников и противников наград. Надо было выслушать и тех, у кого награды — плод тяжелейшего труда, а таких большинство.

О. И. МОСКАЛЕВА,
ветеран партии и труда
Орехово-Зуево Московской области.



Наш адрес:
101456, ГСП,
Москва,
Бумажный проезд, 14.



ПУШКИН ИСКАЛ МОГИЛУ КАЗНЕННЫХ ДЕКАБРИСТОВ. ТАКОЙ ВЫВОД СДЕЛАЛА АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА, НЕ РАЗ ПРИХОДИВШАЯ НА ОСТРОВ ГОЛОДАЙ К МОГИЛЕ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА. В СТАТЬЕ «ПУШКИН И НЕВСКОЕ ВЗМОРЬЕ» АХМАТОВА АРГУМЕНТИРОВАЛА СВОЙ ВЫВОД, УЗНАВ ГОЛОДАЕВСКИЙ ПЕЙЗАЖ В «ОСТРОВЕ МАЛОМ» ИЗ «МЕДНОГО ВСАДНИКА» И СТИХАХ «КОГДА ПОРОЙ ВОСПОМИНАНЬЕ...». В УСТНОЙ ПУШКИНСКОЙ ПОВЕСТИ «УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ» ОНА НАШЛА ПУТЕВОДИТЕЛЬ К МОГИЛЕ КАЗНЕННЫХ. ПРАВИЛЬНОСТЬ ЭТОЙ ДОГАДКИ ПОДТВЕРЖДЕНА КНИГОЙ Г. НЕВЕЛЕВА «ИСТИНА СИЛЬНЕЕ ЦАРЯ». А В ПРОШЛОМ ГОДУ, КОГДА БЫЛИ НАЙДЕНЫ В ТЕТРАДИ ПУШКИНА ТРИ ЗАРИСОВКИ ЭТОГО МЕСТА,— СМОТРИ «ОГОНЕК» №№ 23 И 35,— НАЧАЛСЯ НАШ ПОИСК.

ПО ВСПЫШКЕ СВЕТА

Андрей ЧЕРНОВ

Счастливая мысль привлечь к поиску военных топографов пришла в голову тележурналисту Виктору Правдюку. Не зря ж мы под улыбки ленинградцев уже дважды промеряли пятиметровой рулеткой Уральскую улицу. От речки Смоленки до проспекта КИМа. Действительно смешно: взрослые дяди устанавливают длину тротуара. И кланяются, кланяются земле до земли.

Так закончился этап нашего топографического дилетантизма.

...В полутемном классе линзы современного прибора совместили прошлое и настоящее: поверх промышленных построек проступили очертания Голодая и крохотного островка Гоноропуло, отступил берег Малой Невы, потекли давно засыпанные протоки и зазеленели огороды пушкинского времени. А на поле стадиона проросли кресты Армянского кладбища.

Мы очутились на судостроительном предприятии. Указанная рисунками Пушкина точка всего в нескольких метрах от стены заводского корпуса. Лет двадцать назад тут прошли бульдозеры, краны и грузовики. Правда, в XX веке грунт здесь несколько раз подсыпали. Культурный слой почти в три метра мог и защитить останки казненных. Если захоронение не было уничтожено временем, водой или людьми еще раньше. Ведь здесь в крымскую кампанию велись обширные земляные работы, восстанавливались петровские фортификационные сооружения. А в тридцатые годы уже нашего столетия тут — верфь и водокачка. Так что реально шансы на находку чуть выше абсолютного нуля.

Ров между последней на Голодае возвышенностью и островком Гоноропуло засыпан в конце двадцатых.

Наученные трудным опытом, перепроверяем результат. Расхождение с выкопировкой военных топографов минимальное. Точность старого плана удивила и современных специалистов. Можно сказать, что это эталонная точность. Во всяком случае, новейший лазерный прибор — им пытались заменить нашу допотопную рулетку — при измерениях на натуре дал куда большую ошибку. Выяснилось, что проще установить точку простым наложением карт, высчитывая миллиметры на плане, а не метры на местности. Кабинетная работа.

Начинаем вести переговоры с судостроителями: нельзя ли геологам и археологам исследовать их территорию, убедиться, что ров между Голодаем и Гоноропуло действительно был? А пока просматриваю пушкинские тетради: вдруг поэт не однажды нарисовал этот пейзаж? Ведь и сцену казни на кронверке он изображает не однажды.

Когда знаешь, что искать, найти всетаки легче. И вот не один, целых три рисунка! Два в тетради ПД 838. Вопервых, очень схематичный план на черновике стихотворения «Воспоминание»: весной 1828 года стилизованный кораблик уткнулся на листе в береговую кромку. Перпендикулярно ей вполне узнаваемый ров заканчивается внизу рисунка озером. Очертания его, как на старом плане: пушкинские линии здесь расходятся веером. Это топкие берега южной части рва. Параллельно рву — линия «последней возвышенности». Слева — полукруглый штрих, нацеленный туда, где на стрелке вала была тайная могила казненных. Долго не могу понять, как объяснить этот загадочный, но явно не случайный штрих. А потом беру старый план и все становится на место: тут самое узкое место, иначе, как здесь, на остров Гоноропуло не попасть. Брод через ручей, отделяющий Гоноропуло от Голодая с юга? И смысл этого очень лаконичного плана в том, чтобы указать этот брод?

Досматриваю тетрадь почти до конца...

Такие удачи действительно нечасты: гоноропуловский пейзаж! Он занимает всю ширину листа, не узнать его невозможно!

Смею надеяться, что читатель простит это обилие авторских восклицаний. Замечу в свое оправдание, что следую здесь за поэтом. На 95/2 листе Пушкин начал стихотворение: «В опальной хижине моей мне ночь отрада...» Зачеркнул. Начал вновь: «Я проснулся, но лениво Дремлет зимняя заря...» Третью строку не успел сочинить. Родилась четвертая. И какая!

ДЛЯТСЯ НОЧИ ДЕКАБРЯ... Стих этот, очевидно, так поразил самого Пушкина, что под ним (так!) появился восклицательный знак. Эдакий самокомментарий.

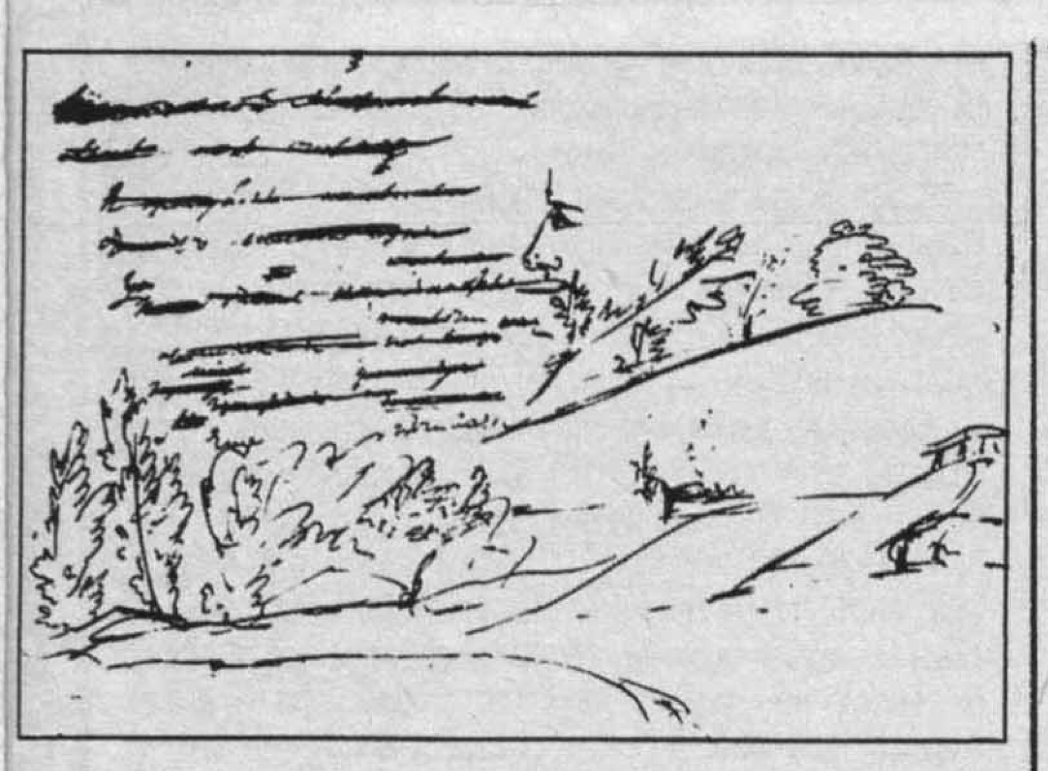
А стихотворение не пошло́. Незачеркнутым остался только набросок строки: «Еще..... почивает». И ниже — вольным пером пейзаж с видом на «последнюю возвышенность», избушку рыбаков, ров и «скалу» (стрелку вала на Гоноропуло).

Заслуживает рисунок и более подробного разговора.

Весь вид — это ясно при сличении с планом — изображен, словно с натуры, с того места, где начинается дорожка к рыбацкой избушке. Вот они справа — и дорожка, и даже мостик. А сама избушка под углом к реке, как и на плане. Это именно заимка рыбаков: с восточной стороны крыша образует навес и подперта столбом. Помните об этом на черновике 1830 года: «...здесь невод мокрый расстилает и свой разводит он очаг...»

Там же была зачеркнутая строка «Кой-где растет кустарник тощий...» Была? Нет, будет. Потому что это еще через два года. А пока поэт рисует заросли кустарника на южном берегу Гоноропуло. Вот они, слева. И в самом левом нижнем углу пейзажа — перекинутое через протоку бревно. Не брод — временный мостик. Потому он и не отмечен на старом плане: кто ж будет наносить на карту обыкновенную жердь? А поэт ее на своем плане весной того же 28-го обозначил полукруглым штрихом.

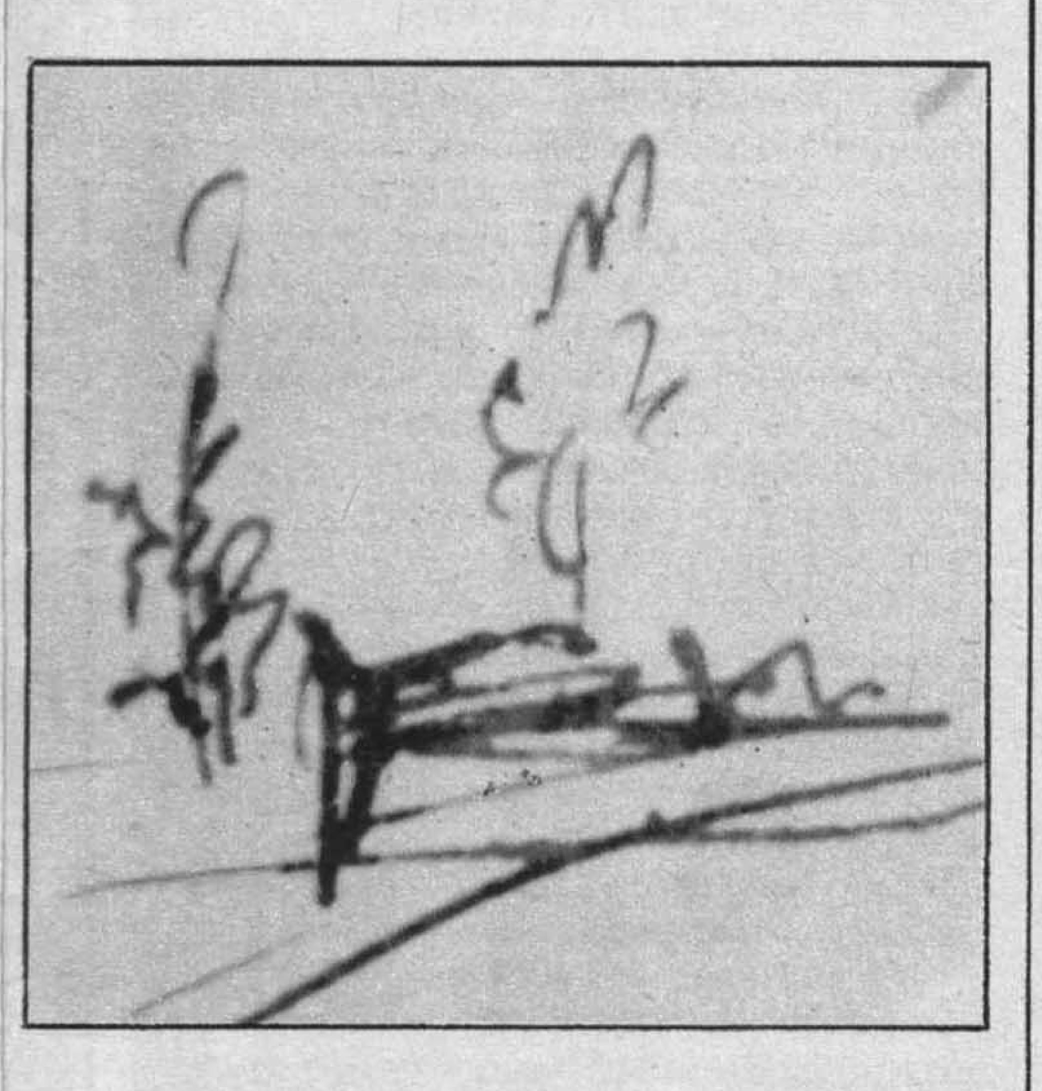
Но нас-то прежде всего притягивает стрелка вала. Она под двумя высокими деревьями. Вот и «скала», подрытая



Пейзаж с избушкой рыбаков в рабочей тетради ПД 838.

Место захоронения казненных декабристов. Снимок 1910-х годов.

Фрагмент со «скалой» и обломком дерева.



пеной. И торчит из земли обломок дерева. Могила по пушкинским рисункам из «третьей масонской» тетради — как раз между «скалой» и этим обломком. Но там он крупно, а здесь едва заметен: полторы сотни метров — дистанция для такого масштаба не маленькая. И чуть меньше до избушки. Фотографичности пушкинской памяти не перестаешь удивляться: как точно он нарисовал и южное окончание рва, берег заболоченного озерца!..

Ни Ахматова, открывшая в тексте «Уединенного домика на Васильевском» пушкинский устный путеводитель к декабристской могиле, ни историк Геннадий Невелев, автор прекрасной книги, аргументировавший скорбное ахматовское прозрение,— этого плана не видели. Нам просто чуть больше повезло.

Последний из обнаруженных нами пейзажей островка Гоноропуло был на черновике «Медного всадника». Прямо под строкой «На берегу пустынных волн». Та же стрелка вала, и видно, как расходится она углом на две стороны. И два высоких дерева над ней. Лишь нет уже обломка дерева: с первых зарисовок летом 27-го года прошло шесть лет. И чтобы отметить место, поэт проводит наискось линию. Стрелку уже в прямом смысле этого слова. Указательную стрелку.

Здесь стоял Петр, мечтая о своем городе. Но города здесь не будет и спустя два века. Он раскинется, против воли Петра, не тут, а к юго-востоку от берегов Голодая. И Петр сначала станет бороться грозными указами, а после и сам махнет рукой. Васильевский остров центром Петербурга не станет. Селились на западной его части только бедняки. А северная — Голодай — и в пушкинское время была пустынна.

Однако всадник с Сенатской площади, ежели поскачет, перемахнув реку, по прямой, опустит копыта где-то здесь. Совпадение? Конечно. Но Пушкин, видимо, и его подметил. Здесь петровский конь добивает бедного Евгения, решившегося бросить державному властителю свое «Ужо!..» «Остров малый» — не Голодай, а его крохотная часть, островок Гоноропуло, на прибрежье Голодая.

Вспомним, как описано у Пушкина наводнение 7 ноября 1824 года: Нева кинулась на город, а потом ушла, «покидая с небреженьем свою добычу». Из описания наводнения С. Аллера (книга издана в 1826 г.) узнаем, что Сельдяной буян снесен к восковому заводу на Петербургской стороне. Сельдяная таможня и ее склады в двухстах метрах от избушки рыбаков. Правда, после наводнения их не восстанавливали на прежнем месте, и на плане это «Бывший Сельдяной буян». Проведем линию из Галерной гавани, где был домик Параши («почти у самого залива»), к избушке рыбаков. Она параллельна той, по которой сельдяные склады перенесутся стихией к восковому заводу.

Андрей Белый доказал, что Евгения найдут мертвым у занесенного на островок домика Параши весной 1826 года. За несколько месяцев до того, как здесь похоронят казненных. Описанием острова Гоноропуло заканчивается «Медный всадник», а могила Евгения — «ради Бога» — но без креста, весьма символическая могила.

Вот почему и открывается поэма валом на Гоноропуло, столь похожим на саму скалу под конем Петра. По крайней мере так на рисунке поэта.

Скорбное, пустынное место.

В ленинградском архиве кинофонофотодокументов мой провожатый по кругам питерской фотопамяти — Людмила Емельяновна Стрельцова. Когда мы уже просмотрим каталог и убедимся, что берега Малой Невы не запечатлены, Людмила Емельяновна вдруг вспомнит о снимках общества «Новый Петербург».

Образованное в начале нашего столетия, это общество стало застраивать Голодай жилыми домами. Оно осушало болота, намывая и насыпая новый берег всего в километре от могилы декабристов. И однажды пригласило фотографа. Территория «бывшего острова Гоноропуло» (так на планах начала XX века) его, конечно, не интересовала. Но, закончив съемку, он, видимо, пошел по побережью и повторил пушкинский маршрут. Тут воспетая поэтом «последняя возвышенность» и соблазнила профессионала возможностью снять панораму с высокой точки. Так попала в кадр и коса, и край Петровского острова, и даже кусочек Вольного (слева за протокой). А еще — баржи с грунтом для подсыпки берега. Пристань из бревен на берегу рва. А за ней — вал на Гоноропуло. Только «скалы», то есть обрыва, уже нет. И река подвинулась к стрелке вала на недобрый десяток метров. (Потом, во время бурения геологи из ВСЕГЕИ Г. М. Беляев и В. А. Угаров с удивлением откроют, что город, по крайней мере в этом месте, тонет. Почва начала XX века ниже уровня воды. Так что, сколько сюда ни сыпь сверху, все уйдет вглубь.) На снимке место захоронения должно быть на переднем плане — под бревнами или сразу за ними.

Почти таким увидел этот пейзаж Пушкин.

А чтобы исключить наши сомнения, он позаботился выписать потомству расписку. В той же тетради, где «Арион», есть французская запись: «14 июля 1826 Го...» (ПД 833, л. 88).

Это дата тайных похорон на Голодае. Потому Невелев и предложил читать попавшее под чернильное пятно слово как Голодай. А Цявловский читал «Гон...» — Гонзага, бразильский поэт, стихотворение которого Пушкин однажды перевел.

С хранителем пушкинских рукописей Татьяной Ивановной Краснобородько и Сергеем Александровичем Фомичевым рассматриваем оригинал. Запись сделана такими светлыми чернилами, что при первом взгляде ее просто невозможно различить на листе. Да к тому же чернила за полтора века «погасли»: на фотокопии, с которой работал Невелев, и то лучше видно! Но фотокопия не подлинник: вот и пятно никакое не чернильное, просто в этом месте бумага «проржавела».

Присматриваюсь: вполне отчетливо читается «Гон...» — тут Цявловский прав! — а еще «...ор». Край листа, слово недописано и закончено росчерком. 14 ИЮЛЯ 1826 ГОНОР(опуло). Или, если угодно,— Гунаропуло. (Как только не писали эту фамилию в XIX веке!)

Записано и что, и где, и когда. Перевернем тетрадь — с другой стороны так же Пушкин запишет о коронации Николая. Две — в полном смысле слова зеркальные пометы.

Пушкин точен. Когда по его рисункам выбрали место для памятника на Кронверкском валу, рабочие наткнулись на спиленные столбы эшафота. Экспертиза на углерод подтвердила: да, эти плахи — их четыре — того самого времени.

Могла ли нас ждать подобная удача? Кто поручится, что Пушкина не дезинформировали?

Пришлось заново просмотреть все свидетельства о секретных похоронах на Гоноропуло. О Голодае говорят и помощник квартального надзирателя Шипов (он участвовал в этих похоронах), и М. Ф. Каменская (ее, восьмилетнюю девочку, сюда приводила вдова Рылеева), и А. А. Жандр, приезжавший сюда на лодке летом 1826 года. А еще — Л. М. Жемчужников, Волконская, Штейнгель, Михаил Бестужев... Прибавим сюда помощника столоначальника полиции, а позднее литератора Н. С. Щукина. Тела вывезли на телеге и похоронили на побережье в одной яме с негашеной известью. Гробов не было: все сделано так, чтобы пропитанный водою грунт не сохранил никаких признаков захоронения. Сам обер-полицмейстер Княжнин выбирал место, а закапывал полковник Дершау. Почему именно он? Да потому, что в петербургском справочнике Дершау значится как василеостровский полицмейстер. Установив это, мы должны согласиться с тем, что и другие свидетели ничего не путают. Голодай — часть Васильевского острова, как Гоноропуло — часть Голодая. Хоронил тот, кому и присматривать за этим местом.

Обелиск декабристам, поставленный в 1939 году (доска заложена тринадцатью годами раньше), отсюда в километре. Он стоит на условном месте. Еще в 1917-м во время земляных работ — солдаты рыли канаву для водопровода — наткнулись на гроб военного в николаевской форме. Журнал «Огонек» в № 23 за 1917 год сообщил об этой находке, и пошла гулять по литературе легенда о пяти гробах казненных, якобы уже найденных. В том же фотоархиве сохранились снимки, сделанные знаменитым К. Буллой: гроб один. Военный похоронен в мундире и при эполетах. Значит, не декабрист. Была и экспертиза, установившая, что пуговицы на мундире более позднего времени. Но легенда живет.

А вот не легенда — воспоминания художника Л. М. Жемчужникова, человека информированного: его отец — гражданский губернатор Санкт-Петербурга! Если выйти на Смоленское поле, то слева Галерная гавань и взморье, а прямо — «Смоленское кладбище в виде леса, за кладбищем был известный нам курган над телами казненных декабристов».

Сверяемся по старому плану: рощи Смоленского кладбища с этой точки закрывают только северную часть Голодая. Значит, здесь. И только здесь во всей дельте Невы тот самый «скалистый берег», о котором говорил Княжнин. Строго говоря, это не скалы, просто два обрыва, подмытых «хладной пеной»,— руины петровской фортификационной мысли. Но и Пушкин воспринимал это как «скалу». Помните в «Арионе» и на рисунках в «третьей масонской» тетради?

Осталось только поискать того, чьим именем назван «остров малый». Должен извиниться перед читателями и перед картотекой Модзалевского. Она знает, кто такой Гоноропуло, просто десяток карточек стоит по алфавиту на Гунoропуло. Даже не на Гунаропуло, как пишется эта фамилия на плане! Потому-то при первом просмотре мы и не смогли найти этого загадочного грека.

А сейчас достаточно много знаем о всем роде этих выходцев с острова Хиос. Афанасий Гоноропуло переселился в Россию в последней четверти XVIII века. Он с братьями помогал графу Орлову взрывать турецкие корабли, снаряжал брандеры, и потому, когда русская эскадра ушла из Средиземного моря, Гоноропуло бежали под покровительство Екатерины. Афанасий был обласкан при дворе и получил должность. Всем братьям — а их было три — пожалованы земли.

В «Указателе жилищ и зданий Санкт-Петербурга» на 1822 год адрес «на Голодае» только у коллежского асессора Гунoропуло. Это старший сын Афанасия. А есть еще два.

Первый числится по лейб-драгунскому полку штабс-капитаном. Боевой офицер, кавалер трех орденов и медали за 1812 год, он оказался... адъютантом председателя следственного комитета по декабристам военного министра Татищева!

Он сопровождает гроб Александра I из Таганрога и прибывает в Петербург, когда его однополчанин и тоже адъютант (да еще в одном звании!) Александр Бестужев уже в крепости. Не один год прослужили они в одном полку, без сомнения, друг друга прекрасно знали, вместе ведь и звания получали. Знал ли Егор Гоноропуло Рылеева, друга Александра Бестужева-Марлинского? Этого мы пока не знаем. А вопрос важный: без согласия владельцев земли никакие Княжнин и Дершау не решились бы хоронить казненных в частном владении. Здесь близость Егора Афанасиевича к следствию — как-никак адъютант самого Татищева! — факт примечательный.

О третьем брате, Афанасии Афанасиевиче, известно, что он в 1834 году представлялся императору в качестве новоиспеченного губернатора Белостока. Другой чиновник, некто И. С. Жиркевич, записал: «Потом государь, обратясь к Гоноропуло, приветствовал его, что он уже давно знаком с ним, но в настоящую минуту он должен ему напомнить, что в Белосток назначил его губернатором по представлению кн. Долгорукого...».

Прервем пока цитату: значит, царь «уже давно знаком», но считает долгом напомнить, что дело в Долгоруком, а не в том, что было раньше. Занятно. Читаем далее:

«Тут глаза государя заблистали, стан выпрямился, и он, возвысив голос, сказал: — Мне нечего тебя учить, как следует обращаться с поляками... Имей на руках железные рукавицы... Поляк — всегда поляк... Он будет виться змеею у ног твоих, будет лизать их, пока не доберется до шеи, а там задушит тебя!..»

Мы проредили императорскую тираду, она и так слишком пространна. Но поразительна. Царь явно говорит так, чтобы смысл его слов понял только Гоноропуло. (Кто ж знал, что Жиркевич запишет!) А смысл прозрачен; попробуем сделать перевод «с царского» на нормальный язык. Могу предложить такую версию: я, мол, помню твои услуги, но не им ты обязан назначению. Держать живых польских революционеров на их земле — совсем не то же, что мертвых русских в своей.

Не настаиваю на такой трактовке, но ведь должны были спросить у живших на Голодае братьев! А может, через Егора Афанасиевича и место подыскали? У него и опыт в похоронных делах:

шутка ли, несколько месяцев вез мертвого императора по России! И близость к главному следователю. Да и нет на Голодае других «прописанных» землевладельцев-дворян. Случайно ли мелькает в речи царя змея, та самая, что словно сползла из-под копыт Медного всадника? Не просто змея, а символ бунта и крамолы. Долгие часы наблюдал за ней молодой император 14 декабря на площади перед Сенатом. А это — «доберется до шеи, а там задушит»? Это откуда?..

Вот так император Николай, сам расписавший в подробностях весь обряд казни, знавший, как похоронили повешенных, по сути, тоже выдает нам расписку этим своим монологом.

Осенью мы начали пробный раскоп на Гонорополу. Но не в пушкинской точке, а метрах в двухстах западней, там, где был некогда ближний к взморью берег островка. Почему там? Надо было проверить альтернативную версию, аргументированную только интуицией психологов, сказавших, что копать нужно здесь. А главное, надо было выяснить, каково здесь копать. Под слоем строительного мусора и намытого песка пошел плывун. Помогали курсанты и пограничники, студенты, рабочие, художники и школьники. Копали в воде, вычерпывая жижу ведрами. Ломались и забивались насосы. Прогибалась опалубка. Но прошли мы лишь пять неполных метров, успев докопать только до начала материка. И это за десять дней — с утра до темноты. Вывод — обычное археологическое исследование здесь невозможно. Важный для нас вывод. Потому к судостроителям, которые взялись финансировать исследование, пришли мы уже с предложением не копать, а бурить.

Копать нельзя еще и потому, что за полтора века, даже если могила сохранилась, мы рискуем ее просто не заметить в плывуне. А если не сохранилась (смыта или разрушена людьми), мы уничтожим это место, и через двадцать — тридцать лет, когда появятся технические средства для обнаружения и слабого следа бывшего захоронения, другое поколение исследователей горько упрекнет нас.

Вот поэтому при помощи геологов ВСЕГЕИ и буровиков Севзапгеологии в декабре через каждые два метра мы исследовали площадку между двумя заводскими строениями. И по слою торфа определили границу рва. Он действительно здесь был. И есть, хотя глубоко под «дневной — термин геологов и археологов — поверхностью». Мы сделали около полусотни скважин, и надо сделать хотя бы еще половину от этого числа, определить место избушки рыбаков и вала. Пробы грунта брались для химического анализа через каждый метр проходки. Сейчас они обрабатываются. Дело это не быстрое. Экспедиция наша организовалась почти стихийно, и сейчас поиску помогают десятки людей. Может быть, кто из читателей «Огонька» знает, как, не нарушая грунта, исследовать это место?..

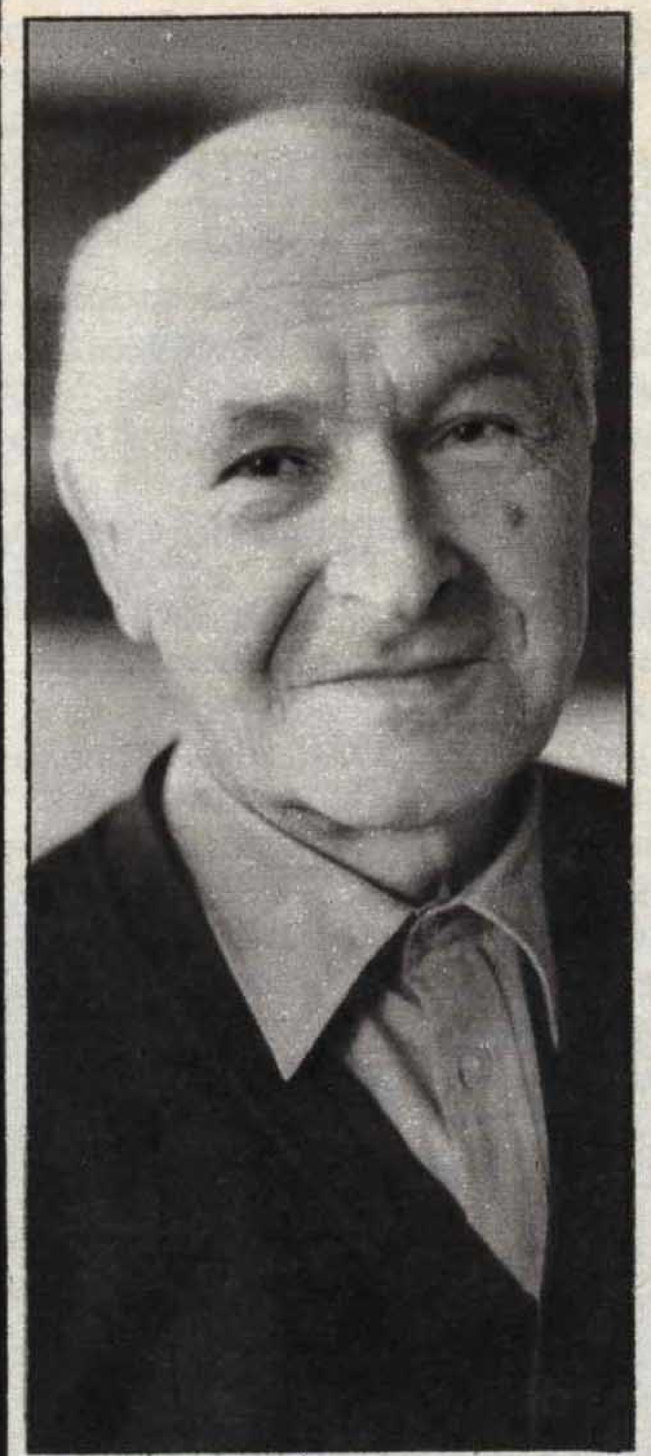
Нас привел сюда Пушкин. И еще Ахматова. А ведут поиск Музей истории Ленинграда, Ленинградское телевидение и «Огонек». И все, о ком мы уже рассказали. Мы знаем место, мы, наконец, спустя более полутора веков, пришли сюда, чтобы поклониться подвигу. Итак, Уральская, дом 19. Это здесь.

...Есть у Сергея Муравьева-Апостола французское стихотворение, словно нам и адресованное. Осмелюсь предложить его перевод:

Земным путем сойду до срока,
Медлительно и одиноко,
Не узнанный при свете дня.
Но там, где небо тьмой одето,
В конце пути по вспышке света
Вы опознаете меня.

Да будет так.





ВСЯ КРАСОТА — В ПРАВДЕ

Фото Михаила МЕЗЕНЦЕВА.

Валентина ГРИГОРЬЕВА



огда зритель знакомится с картинами Юрия Петровича Кугача, он испытывает чувство уверенности в том, что простая человеческая жизнь освещена неким высоким смыслом. Что жить на свете — великое благо. Что природа, даже в самом скромном своем обличье,— прекрасна. Обыденному художник возвращает изначальный смысл, хотя в его творчестве как будто нет претензий на открытие мира. В силу своей удивительной естественности живопись действительного члена Академии художеств СССР, народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина воспринимается как своего рода откровение.

Горько сетуют зрители, сокрушаются профессионалы о том, что из современного искусства практически исчезла бытовая картина или почти прекратила свое существование.

Картины Кугача из народной жизни — это, по сути дела, бытовой жанр, своеобразно и по-новому осмысленный. Он избегает острого сюжета, драматической накаленности страстей. Нет в картинах художника рассказов о событиях исключительных, нет занятного анекдота. Происходит же в них самое главное — на наших глазах протекает жизнь деревенской семьи от рождения до кончины. Художник сознательно проходит мимо конфликтных ситуаций. А они-то как раз и могли бы развлечь зрителя...

Позади остались запальчивые споры критиков о художнике. В юбилейном году Юрию Петровичу, ровеснику Октября, исполнилось семьдесят лет. Ему можно без страха оглянуться назад: сделано много, и многое предстоит сделать. Одна за другой появлялись на свет, его картины образовали цикл «Жизнь человека». Десятилетие назад в их бесконфликтности некоторые были склонны упрекать художника. Для него же картины — утверждение вполне определенных идеалов. Иначе зачем бытовым полотнам внушительные масштабы, интенсивные, яркие краски.

Картины Кугача о жизни современной деревни, может показаться, как раз лишены современности в смысле ее внешних примет. Опрятные горницы, бревенчатые стены без обоев. Пестрые, чисто выстиранные занавески из ситца. Разделка теста к празднику; старушка с вязаньем у окна; банный день на женской половине, кругом все прибрано, семья готовится к чаепитию. Но так ли уж простодушны широко известные картины «Перед танцами» или «В субботу»? Жизнь в них течет неторопливо, время как будто удлинилось, чтобы зритель в одном случае вошел мысленно в созданное художником пространство, увидел девушек в преддверии их еще не состоявшихся судеб; в другом случае через настоящий момент постиг черты национального уклада семейного быта, заданного от века, завещанного из поколения в поколение. И здесь, и там, и в картине «Хозяйка», неоднократно варьируемой,— утверждение незыблемых семейных устоев. Спокойное, неторопливое общение друг с другом, внимание старших к младшим, священное, почти как ритуал, отношение к каждодневным семейным обязанностям женщины-хозяйки — представляется, что в этом есть скрытая полемика.

Исчезает безвозвратно патриархальность быта крестьянской семьи, взрослые дети уезжают не на время, а навсегда, и происходит неизбежное отчуждение от старых родителей: с глаз долой — из сердца вон. Сильнее всего об этом написал Валентин Распутин в «Последнем сроке». Такие живописцы современности, как Виктор Иванов, и в недалеком прошлом Виктор Попков, о том же повествовали в своих грустных, а порой по-настоящему драматичных полотнах.

Музе Кугача чужд драматизм искусства его современников. Он утверждает тихие семейные радости. Его глазами мы видим дом как очаг тепла, человечности, любви. В его картинах — благополучные семьи, где дети ухожены, пол выметен, где ждут гостей, чтобы принять их не впопыхах, с дорогими покупными разносолами, а с пирогами, домашними соленьями, как исстари водилось в народе. В таких семьях и люди должны быть цельными, без душевной ущербинки и надлома. «Русская деревенская жизнь — это разумно и красиво»,— говорит художник.

Картины из цикла «Жизнь человека» — островки семейного счастья. Семья для его героинь (а изображает он преимущественно женщин) — и поле деятельности, и смысл жизни: от добра добра не ищут. Он почти не показывает женщин за пределами дома.

Созданный трудолюбивыми руками уют тщательно прибранного жилья, благоденствие стабильного, в чем-то неизбежно монотонного каждодневного существования в семейном кругу, отгороженного им от бурь планеты,— не слишком ли это мало для современного человека? Ведь жизнь вокруг так стремительно идет вперед, обществу нашему придется удесятерить усилия, чтобы идти наравне с веком.

Но в том-то и суть искусства Юрия Кугача, что его картины обращены к незыблемым человеческим ценностям — к тому малому миру, без которого большая жизнь человека не обрела бы полнокровного вселенского смысла.

Художник полон неколебимой уверенности, что без глубокого знания народной жизни невозможно познать и историю народа. Далекому прошлому России посвятил Кугач полотна «Андрей Рублев», «За Отчизну», «Дмитрий Донской», созданные в разные годы и составившие в итоге единый живописный триптих. Много было споров о характере трактовки образа живописца Древней Руси, уж слишком земным, а некоторым — приземленным он казался. По мысли живописца, душевное здоровье, физическая крепость — вместилище творческой энергии, духовной озаренности.

Работая над картиной «За Отчизну» и более ранними к ней подступами, в частности, картиной «Войско Дмитрия Донского», художник основательно изучал живопись Василия Ивановича Сурикова. Ведь именно в его полотнах народ впервые предстает истинным творцом истории. Суриков был «первым русским живописцем,— утверждает Кугач,— который определил историческую картину как народную в полном смысле этого слова, где народ написан с предельной исторической убедительностью, где он охарактеризован до мельчайших черт, до мельчайших деталей, жизненно убедительно, исторически верно с точки зрения социальных взаимоотношений». Суриковский принцип и до сегодняшнего дня современен». Суриковским принципом руководствуется живописец, работая над исторической темой.

Пейзажи — та часть творчества художника, что была до некоторой поры закрыта для зрителя, хорошо знакомого с его историческими и бытовыми произведениями. И даже его собратья по искусству впервые открыли Кугача-пейзажиста сравнительно недавно, чуть более десятка лет назад, когда он решился выставить свои этюды на суд зрителя. По сути дела, каждый из них — законченная вещь, то есть картина. Пейзажи Юрия Петровича многообразны по настроению, по состоянию природы. Они вместили в себя элегичность и смятенность, эпическую бесстрастность и бурное ликование. Бесконечное разнообразие состояний природы он сумел увидеть на относительно ограниченном пространстве, на тверской земле. Там, где протекает река Мста, в окрестностях Вышнего Волочка, поблизости от «Академической дачи».

В молодые годы художник поселился с женой, Ольгой Григорьев-

Ю. П. КУГАЧ. Род. 1917.
АНДРЕЙ РУБЛЕВ (левая часть триптиха). 1986.

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (правая часть триптиха). 1986.

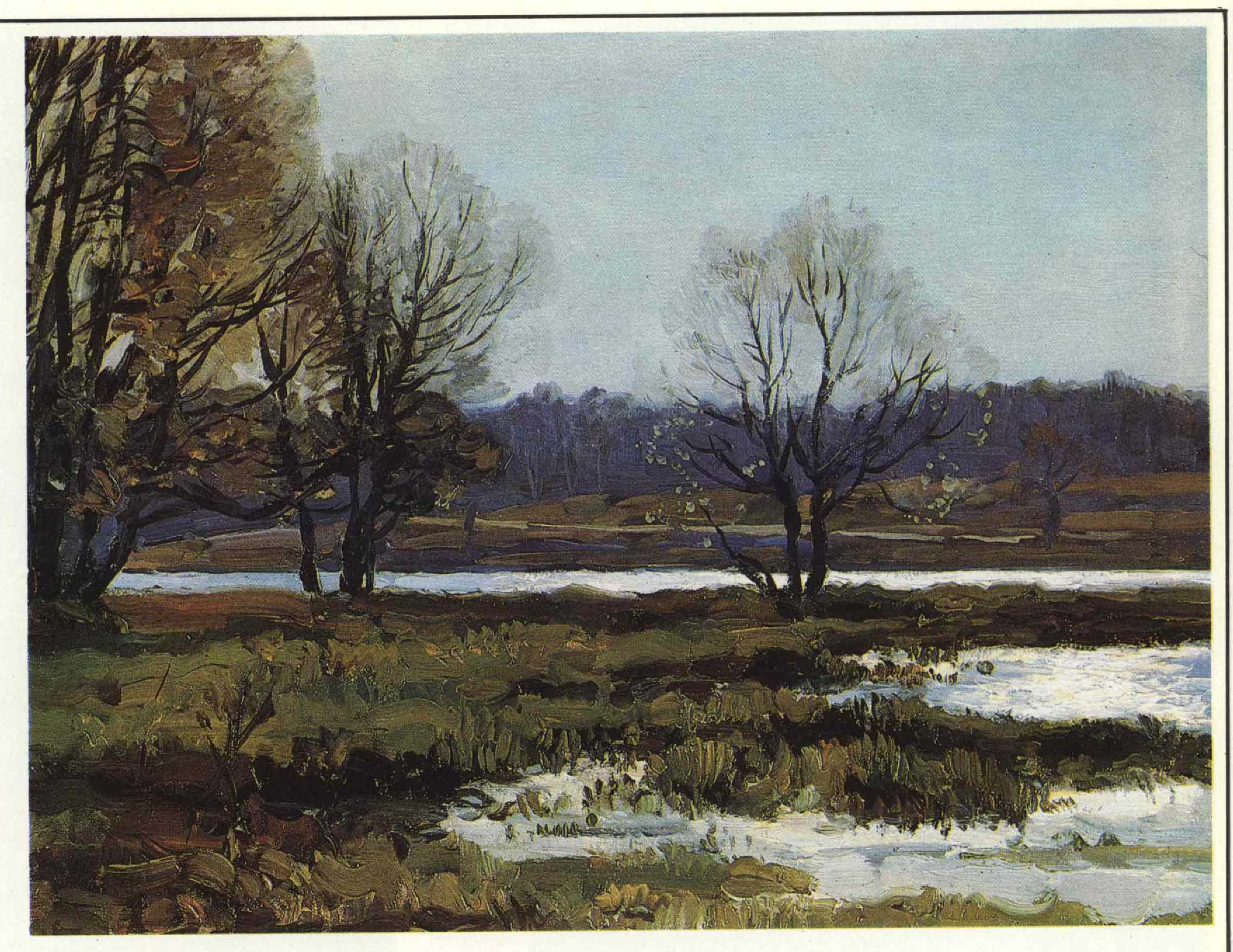
ной Светличной, в этих краях, обосновавшись в деревне Малый Городок. С тех пор прошло ровно сорок лет. Сами построили дом-мастерскую.

Годы шли, налаженная, казалось бы, жизнь деревни круто менялась. Людей сильно поубавилось, опустели многие дома. С болью в сердце наблюдал художник, как поздними вечерами все меньше теплится огней в окошках. Тем острее он чувствовал красоту погожих дней, сказочных зим с мягким пушистым снегом. Один из таких дней — на картине «Снежная зима», или «Морозное утро».

Близкая сердцу художника тверская земля стала для него малой родиной, душевным пристанищем, источником добра и света, художнического вдохновения. Кугач любит писать лесные проталины в марте, когда весна робко дает о себе знать. Или нежданный-негаданный снегопад в сентябре, или пору октябрьского листопада. Он любит осень в ее золотой, самой прекрасной поре. Этюд «Лесная гармония» созвучен и музыке, и стихам. Как песни радости его картины «Майская зелень» и «Березки весной». Художник любит пожары закатов над лесом и лунные ночи над притихшим селом.

Всю жизнь художник чтит замечательного пейзажиста Николая Петровича Крымова, своего педагога, чуткого к состояниям природы, помнит его завет: вся красота — в правде.

«Когда размышляют об актуальности темы, я говорю: нет ничего актуальнее жизни. Она, жизнь, и есть то прекрасное, что дано людям». Эти слова Юрия Петровича Кугача служат ключом к пониманию его искусства.



БОЛОТИСТЫЙ БЕРЕГ. 1967.

НА КУХНЕ. 1958.

Даниил ГРАНИН

МИМОЛЕТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Я ЗАСТАЛ ЕГО ТОГДА, КОГДА С НИМ ПОЧТИ НЕ ОБЩАЛИСЬ. ОН ЖИЛ В ЛЕНИНГРАДЕ, ИЗРЕДКА БЫВАЛ В ДОМЕ ПИСАТЕЛЕЙ, ТО ЕСТЬ ЗАХОДИЛ, НО КАК-ТО УКРАДКОЙ, ИЗБЕГАЯ ЛЮДЕЙ; С НИМ ЗДОРОВАЛИСЬ И С ОЗАБОЧЕННЫМ ВИДОМ СПЕШИЛИ МИМО. СЛОВНО ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ВИНОВАТЫМИ. НЕКОТОРЫЕ СТОРОНИЛИСЬ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. У КАЖДОГО ИМЕЛИСЬ СВОИ ОПАСЕНИЯ. Я ЖЕ ИСПЫТЫВАЛ ЧУВСТВО ВИНЫ. ПОТОМ, КОГДА МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, ОН С ПРИСУЩЕЙ ЕМУ ДЕЛИКАТНОСТЬЮ СТАРАЛСЯ СНЯТЬ ЭТО ЧУВСТВО. НО ОНО ВСЕ РАВНО ОСТАВАЛОСЬ. ДО СИХ ПОР ОНО ПРЕБЫВАЕТ У МЕНЯ СРЕДИ ПРОЧИХ ГРЕХОВ И УГРЫЗЕНИЙ, ЧТО НАКОПИЛИСЬ ЗА ГОДЫ НАШЕЙ ПУТАНОЙ ЖИЗНИ.

Может, из-за этой виноватости я продолжал разыскивать стенограмму одного выступления Зощенко, и вот, спустя много лет, раздобыв ее, могу написать о том собрании в 1954 году.

Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: навстречу чему-то или о подготовке к чему-то... Этого запомнить невозможно, хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в малейших деталях, как след в бетонной плите.

Доклад и прения и все прочее были увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. До этого в газетах заклеймили поведение Зощенко перед иностранцами, разумеется, буржуазными сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.

Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали сидеть многие тысячи отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоился в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. История только готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины. Неведомо как, только что опубликовали эренбурговскую «Оттепель», но сразу же на нее накинулись стражи вечной мерзлоты.

Большой зал Союза был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию — журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так и простоял до конца у стенки.

Докладчик — В. Друзин — бубнил о том, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.

Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли лишь, когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины — прежде всего по «Оттепели», это полагалось ритуально, затем шли местные нарушители — предупредил Веру Панову за то, что с романом «Времена года» она «пошла не туда», Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; он поучал и раздавал колотушки уверенный в своем праве на это. Как же — главный редактор журнала «Звезда», уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года.

Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут. Но уж больно яростно ругали, злобились не по размеру: «беспринципный, бессовестный хулиган» — это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно... как будто в самую последнюю минуту заменили на «блудница». Принял бы и это, если бы не Жданов. Еще со времен Ленинградского фронта все связанное со Ждановым не шло. Тогда еще запало, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне и то его у нас в армии не видали.

Винили и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа за то, что они раздували авторитет Зощенко и Ахматовой, пропагандировали их писания. Получалось, что как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зощенко поддерживали и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил Дудин...

Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь я переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, уж ему-то это ни к чему, и так хватило с лихвой, сколько мучали, мордовали, так нет, зачем-то опять вляпался в эту историю... Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождал бы, поостерегся. 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел первым секретарем ЦК Н. С. Хрущев. Что-то происходило, какое-то потепление ощущалось. И вдруг эта новая кампания против Зощенко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять начинается, опять поднимут на борьбу... Кто-то паниковал — какого черта он вылез, не надо было провоцировать, что это только на руку сталинистам.

Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом в октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили втык от начальства — что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте.

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Это ахнуло, как взрыв, посыпалось, затрещало... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме».

Правда, его больше классовой борьбы уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающе провозгласил он.

«Не согласен» — это, конечно, и на нас произвело впечатление ошарашивающее — как так сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!

Доклад Друзина, если чем и запомнился мне, то исключительно тем, что на этом собрании произошло с Зощенко. И то запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил тот доклад, да и самого Друзина уже не помнят на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами — никто не мог назвать. Я ничего не понимал — почему же в таком случае он командовал журналом «Звезда», почему поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?

В нужных местах зал аплодировал, в нужных — возмущался. Все двигалось слаженно. Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация «здоровая», «правильно расценивает». Чтобы не усугублять. Будет хорошо, если собрание «даст отпор». Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Словно бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.

После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: «пособник наших врагов», «подобно буржуазным писакам», «холуйское поведение на потребу...», «потерял достоинство советского человека». Я знал, что Зощенко сидит в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с какой-то холодной жестокостью.

Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградской писательской организации В. А. Кочетов. Он посовещался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зощенко.

Зощенко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.

Я впервые видел Зощенко. Небольшого роста, в темном костюме, коричневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный, «справный», как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих событий, до войны и еще раньше, в годы «Серапионовых братьев», была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.

Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, с грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, где больше было враждебного, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, отвергающий настрой был задан.

Зощенко оглядел лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.

— Очень трудно говорить в моем положении,— голос его оказался тонким, ломким.

Стало ясно, что бы он ни сказал, все будет не так: «неискреннее покаяние», «вынужден признать», «разоблаченный в двурушничестве» — обязательно как-то его сформулируют.

— ...Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?

А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехали «сам Симонов» и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, неважно, меры приняты, можно доложить.

— ...Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.

То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность, это настораживало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думаешь,— этого никогда не требовалось, надо говорить то, что положено.

— Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.

Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.

— В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе — именно о том, что я не советский писатель,— и опять повторил четко: — не могу согласиться!

— Зачем подчеркивать несогласие? — прошептал кто-то рядом.— Не стоит.

— Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние и я, главным образом, занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления — о ленинградских партизанах...

Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.

— Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда несколько ослабели мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.

Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что потом имело продолжение.

— ...Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи. По одному моему рассказу, как вам известно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принял все указания партии, какой должна быть литература.

Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, еще носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу...

— Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных и безыдейных — это так. Отчасти это была дань давнему времени — двадцатым годам. Я ведь начал работать в двадцать первом году, мой рассказ «Аристократка» был напечатан в 23-м году, тридцать с лишком лет назад. Грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал,— это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет... Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о докладе Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?» На любой вопрос я готовился ответить шуткой. Но в докладе, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю.

Голос его окреп, поднялся. Последние слова прозвучали пугающе. Тишина стала звенящей, словно всем перехватило дыхание.

Зощенко взял листок и раздельно прочитал свой ответ английским студентам, ответ, точность которого, как он сказал, можно сверить по стенограмме.

— Я не согласился с докладом потому, что не согласился с критикой моих работ, сделанных в 20—30-х годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только что возникало, я писал о мещанах, порожденных прошлой жизнью. Я сатирически изображал не советских людей, а мещанство, которое веками создавалось всем укладом прошлой жизни...

Всенародно он утверждал свое явное несогласие. Прямо-таки вызов. Первое открытое несогласие с высшими властями, которое я услышал в своей жизни.

— ...Закончил мой ответ так: сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, все мое литературное дарование я полностью отдаю Советскому государству, советскому народу. Я понимаю, я должен был более четко политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе непатриотизма, ничего предосудительного... А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы так же ответил. А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, что я... подонок?

Меня порадовало, с какой тактичностью он оправдал Анну Андреевну, ее все время противопоставляли ему: вот-де она вела себя достойно, как патриотка, она не заигрывала с этими прохвостами... Постановление связало их, двух замечательных писателей, лучших из тех, что были тогда в Ленинграде. Их постоянно упоминали вместе. На этом повороте пути их разошлись. Зощенко остался один, на него одного наставлены все прицелы, все мушки.

— Что я мог ответить?

Вопрос этот вдруг неотвратимо стал передо мной. И перед другими. Перед каждым. Что можно было ответить? Что?.. Соглашаться, какой может быть разговор, ведь это же не чье-то мнение, а слова Жданова, секретаря ЦК, не о себе надо думать, не о своей чести, а о том, чтобы не потакать классовому врагу, не осрамить нас перед иностранцами. У других вопрос Зощенко вызвал мучительный разлад. Только в этот момент я понял, в каком невыносимом положении очутился Зощенко, через какую черту он не мог в тот миг переступить. И сейчас не может, не в силах.

Пытался. Потому что страшно было остаться одному за той чертой, против всех, снова подвергнуться осуждению, снова пройти адовы круги... Сил-то уже не было. Он спрашивал себя, нас — может, этот вопрос был провокационный, продуманная акция?

Он пробовал вовлечь нас в поиски выхода.

— ...И только дома я догадался, что должен был ответить: передо мною юная аудитория, вам двадцать лет, доклад был семь лет назад, что вы можете помнить? Кто из старших вам подсказал задать этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить!

— Нет, это не ответ! — тотчас, торжествуя, настигая его, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума. Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решил, что он хочет увильнуть, и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить на том, что хочет вывернуться, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настигающей, окружающей, торжествовал в зале.

Он словно ничего этого не понимал, продолжал что-то там твердить на своем языке доверия. Он надеялся, что ему удастся перешагнуть через все условности этой гражданской казни. Теперь, когда не стало ни Жданова, ни Сталина, ему казалось, что среди своих товарищей, коллег можно добиться понимания, надо лишь найти слова, надо рассказать все, как есть, открыть свои сокровенные чувства, не может быть, чтобы его не поняли.

— ...Только через несколько дней мне пришел в голову правильный ответ: я должен был с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне. Но я не нашелся. Быть может, потому, что не умею политически мыслить... Я не малограмотен по политической части. Нет, я много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал двенадцать томов товарища Сталина...

Перечитывая стенограмму, я вспомнил свое чувство досады за него. Не надо было оправдываться, не помогут эти двенадцать томов, не подействуют, это только усугублял, может, надо было говорить с этим залом по-другому, на языке этих крикунов, нахрапистых, наседающих на него.

—...существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову.

Какой же это дефект, когда это особенность, отличие настоящего художника, а то, что мы умеем, научены мыслить политическими формулами, то, что нас натренировали в этом бесконечные собрания, встречи, интервью, семинары, газеты, радио, то достоинство ли это? Слишком часто перед лицом бумаги я ощущаю это как свой недуг, как тяжкий груз времен.

— ...да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе, я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что в этом я повинен.

— Только в этом? — ехидно выпалил Друц.

Я знал, что это Друц, потому что перед этим он выступал против Веры Федоровны Пановой, поддерживал статью В. Кочетова. Что он за писатель, я не знал, ни про одну книгу не слыхал, но выступал он ядовито, яростно, а вслед за ним Неручев, такой же неведомый мне, но активный, ловкий выступатель. На трибуне большей частью появлялись известные, опытные, громкоголосые ораторы, правда, как писатели они были менее известны, но это их не беспокоило. Они были равноправные члены Союза, что Панова, что Друц и Неручев.

— ...я знаю, что означает статья, которая порочит меня такими словами, как «скрывал свои истинные убеждения...». Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, надменные взгляды редакторов,— здесь Зощенко оторвался от бумаги, поднял голову, посмотрел на ряды, и все увидели его. Это был тот самый человек, который много лет смешил всю страну, чьи фразы повторяли, цитировали. В самые тяжкие времена, в самые неприглядные годы он давал возможность людям передохнуть, повеселиться. На всех эстрадах читали Зощенко, хохотали до упаду. Смеясь над чужой глупостью, учились смеяться над собой. Они видели себя со стороны не так, чтобы обидно, потому что автор в общем-то сочувствовал им и печалился о них, они, то есть мы, опознавали пошлость, которую Зощенко, как никто другой, умел обозначить. Маленький человек на трибуне смотрел на нас с такой скорбью, так измученно. Господи, неужели это он годами был источником смеха, и что все здесь сидящие, и тот же Друзин и Друц, всех их он смешил, все они обязаны ему многими часами радости.

Он обвел глазами всех этих людей, голос его напрягся:

— Но все равно! В моей сложной жизни, как это для меня ни тяжко, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Он словно почувствовал облегчение, и зал тоже почувствовал облегчение — и те, кто был против, и те, кто не знал, как вести себя, и те, кто втайне страдал за него.

— Вот уже восемь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое достоинство...

И дальше он по пунктам зачитал опровержения на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова. Как я понял, впервые у него была возможность публично ответить. Ведь все, что происходило со времен постановления 1946 года, было безответно, на него возводили всякого рода поклепы, небылицы и не давали возможности оправдаться, его обзывали и не позволяли возразить. В глазах же людей выходило, что он отмалчивался.

— Я никогда не втирался в редакции, как мне предъявили в докладе. Я не желал лезть в руководство. Было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал, как черт от ладана, от всяких должностей, я умолял, чтобы меня не включали в редколлегию «Звезды».

Про рассказ «Обезьянка», из-за которого, якобы, разгорелся сыр-бор, он объяснил то, что я, например, и не представлял, во всяком случае, для нас, молодых, это было совершенное открытие.

— ...Этот рассказ был напечатан еще в 1945 году в журнале «Мурзилка» для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось. Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии других рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль, что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано и никакого подтекста — я клянусь! — не вложил в него.

По поводу того, что он окопался в войну в Алма-Ате, что он трус, что не захотел помочь Советскому государству в войне:

— Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, как храбро М. М. Зощенко командовал взводом в первую мировую войну, был награжден двумя георгиями, был отравлен газами, дослужился до штабс-капитана, был ранен, командовал батальоном, получил еще два ордена, а после революции командовал пулеметной командой в Красной Армии.

— Кто здесь может сказать, что я из Ленинграда бежал? Товарищи знают: я работал в радиокомитете, в газете, я начинал вместе с Евгением Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», это обозрение шло во время осады. Они находятся сейчас здесь, в Ленинграде, они живы: Акимов, который ставил спектакли, Шварц, с которым мы писали. Это происходило в августе — сентябре 1941 года. Весь город был оклеен тогда афишами и карикатурами на Гитлера... Я не хотел уезжать из Ленинграда, но мне предложили...

Насчет упреков в отъезде из Ленинграда, много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нам

с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября месяца 1941 года провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаду в Ленинграде, поэтому так много погибло. Не упрекать надо было, а хвалить тех, кто уехал вовремя. Между тем, создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным. Пагубная эта ложнопатриотическая идея бытовала еще долго после войны. Миллион ленинградцев, которые погибли от голода и обстрела, словно не могли никого переубедить. Вот и для обвинения Зощенко Жданов использовал тот же прием — бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать очевидную уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в конце января 1942 года, когда голодная смерть косила вовсю.

— ...Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь, мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?

Что-то изменилось в состоянии зала. Трибуна поднялась, нависла над рядами. Оказалось вдруг, что Зощенко не обороняется, не просит снисхождения, он наступал. Один против всей организации с ее секретарями правления, секциями, главными редакторами. Против кочетовых и друзиных, которые были не сами по себе, а представляли власть, необозримые силы аппарата, прессы, радио... Его пригласили на трибуну, чтобы публично склонил голову и покаялся. Никому в голову не приходило, что он осмелится восстать. Тем более ныне, низверженный, растоптанный, кажется, уж чего более перетерпевший, доведенный до полного изничтожения. Сил-то у него никаких не должно было оставаться, ни сил, ни духа.

— Этого требуете вы? Вы! — крик его повис и сорвался.

Взгляд толкнулся в меня, в каждого. Это была тяжкая минута. Не знаю, сколько она длилась. Никто не шелохнулся, никто не встал, не крикнул: «Нет, мы не требуем этого!» Жалкое это молчание сгущалось чувством позора. И общего позора и личного. Головы никто не смел опустить. Сидели замерев. Зощенко ждал с какой-то отчаянной, безумной надеждой, потом произнес прыгающим голосом:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через несколько лет мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось.

Он медленно сложил листки, сунул в карман. Обвел еще раз одним долгим прощальным взглядом этот зал с богатой лепниной, где резвились пухлые гипсовые купидоны, где радужно сияла огромная хрустальная люстра.

— У меня нет ничего в дальнейшем,— ровно и холодно произнес он.— Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения,— он посмотрел на президиум,— ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше, чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Он вышел из деревянной пасти трибуны, он стал словно бы еще меньше ростом, бледно-желтое лицо его было наглухо замкнуто, но сквозь захлопнутые ставни словно пробивался непонятный свет.

Спускался, словно уходил от нас в небытие. Не раздавленный, отнюдь, он сказал то, что хотел. Отныне это будет существовать.

Оказалось, все эти годы проработок, анафем, отлучения ничего с ним сделать не смогли, и как только ему предоставили слово, он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя. Еще не было XX съезда. И слово каждого из них не подлежало сомнению!

...Это была победа. Ясно было, что она дорого обойдется ему. Но цена его не занимала. Его уже ничто не останавливало, впечатление было такое, словно он отплывал куда-то — невесомый, легкий, все привязи, скрепы рухнули, и нечем было остановить его. Те, кто только что угрожал ему изгнанием, смотрели ему вслед с неясным еще предчувствием великой потери...

Раздались аплодисменты. Хлопали два человека в разных концах зала. Аплодисменты были, в сущности, неуместны, можно сказать, нелепы, но все поняли, что в них была поддержка, сочувствие, какой-то протест.

Одного из аплодирующих я увидел, это был писатель Меттер.

Поднялся Кочетов, всмотрелся в зал — кто это позволяет себе,— предупреждающе покачал головой. Потом он перешептался с Симоновым. Надо было сбить впечатление от речи Зощенко. Друзин сидел, изображая как бы горделивую усмешку. Как будто его позабавил выпад Зощенко, даже польстил ему, как будто получалось, что он, В. П. Друзин, был главным противником, главным обличителем... На самом деле, для Зощенко он был символом посредственного, если не сказать бездарного, руководителя.

Сколько этих друзиных, напыщенных, вельможных неведомыми путями пробиралось на редакторские, издательские должности: руководили, указывали, проводили линию, учили нас. Не вспомнить уже фамилий их, когда-то шумных и грозных.

Впрочем, Друзин, этот ортодоксальный, унылый гонитель всякой «крамолы», именно всякой, какую укажут, какую нынче следует, такую и будет выводить, так вот, этот Друзин имел свой секрет. Приоткрылся этот секрет мне случайно. Год спустя после того собрания, с Зощенко, случилось мне ехать в Карелию на съезд писателей. Достался мне билет в одном купе с В. М. Саяновым и В. П. Друзиным. Саянов, человек компанейский, прихватил с собой выпивку, раздобыли кой-какую закуску, и после нескольких чоков Саянов стал читать стихи. Сперва свои, потом чужие. Память у Саянова была редкостная. Читал со вкусом, но самое удивительное было, как он завел на стихи Друзина, и тот тоже принялся читать, да как, куда подевалась его гнусавость, читал звучно, артистично. Завязался турнир, кто кого: они читали Михаила Кузмина, Бенедикта Лившица, Вячеслава Иванова, Цветаеву, Гиппиус, Надсона, Белого,— поэтов отвергнутых, запретных в ту пору, вовсе мне неведомых. Читали упоенно, без устали, я забрался на полку и заснул, сморенный... А днем, в Петрозаводске, на писательском съезде, этот же В. П. Друзин выступал и уныло крошил молодого поэта Марата Т. за формализм, модернизм и прочие грехи.

Фразу «не надо мне вашего Друзина» запомнили крепко. Спустя десятилетия я пытался опрашивать писателей, свидетелей того давнего летнего собрания. Как водится, никто ничего не записал. Воспоминания были смутны, обрывочны. Восстановить по ним текст выступления М. М. Зощенко было невозможно. Но что любопытно — все повторяли мне: «Не надо мне вашего Друзина!» Запомнили дословно эту заключительную фразу.

Первым взял слово Кочетов. Он тоже старался усмехаться.

— Мы не будем преувеличивать значения того выступления, которое вы выслушали от товарища Зощенко. Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории происходят на паперти церквей. Это было кликушеством, и меня удивляет, кто аплодировал ему, что за люди.

И паперть и кликушество было грубо, но все равно не действовало, люди медленно оправлялись от пережитого, не слушая его, завздыхали, задвигались, зашептались.

— Это была изворотливая речь...— настаивал Кочетов.— Почти весь Союз писателей возмущался после того, как произошло высказывание Зощенко перед студентами, большинство увидело здесь страшный антипатриотический поступок!

Он говорил убежденно. Он не понимал, почему зал не принимает его слов. Только что «Правда» опубликовала его разгромную статью о романе Веры Пановой «Времена года», его должны были бояться, тон его обрел металлическую звонкость, он был щитом и одновременно мечом разящим. Его действительно боялись, но с этого и началось его расхождение с писательской общественностью, которое кончилось тем, что его провалили на перевыборах правления. Он был уверен, что на него ополчились за его идейную непримиримость, за то, что он борется с «гнилой интеллигенцией». Впрочем, он особо не переживал, мнение массы его мало интересовало, в глазах же начальства он пребывал жертвой, пострадал, отстаивая основы.

Его убежденность меня всегда озадачивала. Приспособленцем, во всяком случае, считать его нельзя. И то, что он сказал дальше, было тоже его искреннее убеждение. Почему вы все придаете такое значение выступлению Зощенко и самому Зощенко? Кто такой Зощенко, чего мы носимся с ним?.. — таков был смысл его слов. Но они соскальзывали, никого не задевая, даже не возмущая, люди еще находились под сильным впечатлением речи Зощенко и другого волнения не воспринимали. И так и этак пытался он пробить безучастность зала, не мог и тогда рубанул, ожесточаясь:

— Зощенко — это единица, это явление мимолетное!

Ну, был такой, сочинял рассказики на потеху нэповским обывателям, стоит ли о нем жалеть. Что у нас, мало идущих в ногу? Это только враги раздувают из него фигуру.

Но и это не подействовало. Встрепенулись только, когда объявили Константина Симонова. Столичному представителю полагалось выступать в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему. Выступление Симонова ждали, приехал не просто один из секретарей Союза, а К. М. Симонов, который мог совершать независимые действия, похерить то, что тут наговорили друзины и все остальные, и мнения местных инстанций могли разбиться о его несогласие. На его пиджаке горели ряды орденских планок, на другой стороне лауреатские значки. Тогда было принято носить их. Любимец маршалов и генералов, наш брат-фронтовик. Я смотрел на него с надеждой. С Кочетовым все было ясно, но Симонов-то был настоящий писатель, любимый поэт нашей окопной военной жизни. Он был красив, молодцеват, кавказски чернели его маленькие усики. Совсем иная судьба, чем у Зощенко, досталась ему, но объединяла их талантливость, я тогда свято верил в братство талантливых людей, их так мало, так им трудно в одиночку, как же им не защищать друг друга.

Держался он мягко, просто, пожурил снисходительно — что же вы тут, бедолаги-ленинградцы, опять натворили, хочешь не хочешь — приходится порядок наводить.

— ...советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говоривший о том, что понял ошибки, и нате вам, апеллирует к буржуазным щенкам. Срывает у них аплодисменты.

Я понимал, это всего лишь вступление, так сказать, обязательная передовица, никуда от нее не уйдешь, но дальше-то, дальше он выйдет на справедливость, которая наконец прояснилась.

— Незачем, конечно, делать из этого историю,— как бы поддержал он Кочетова, и тут же поднял палец.

И поморщился.

Затем строго постучал по трибуне, предупреждая о непреходящем значении постановления насчет «Звезды» и «Ленинграда», оно действует, никаких перемен не будет, и дискуссий на эту тему тоже. Что касается вопроса, который здесь поставил товарищ Зощенко, то почему ж на него не ответить, зачем же обходить острый вопрос. Надо работой снимать то, что ты литературный подонок, только работой можно избавиться...

— Мы же недавно напечатали в «Новом мире» его партизанские рассказы, поверили товарищу Зощенко и напечатали. Что же изображать из себя жертву Советской власти? Как вам не стыдно.

Немецкий поэт Стефан Хермлин впоследствии рассказал мне:

— То было еще при Сталине, кажется, в последний год его жизни, у нас с Симоновым зашла речь о Зощенко, и Симонов твердо сказал мне: «Пока я редактор «Нового мира», я буду печатать Зощенко, я не дам его в обиду». Помню, как меня поразила храбрость его высказывания.

У Симонова это бывало: держался, держался и в самый последний момент скисал, не выдерживал давления, а давление на него, конечно, было огромное.

Первую любовь не забываешь, первое разочарование тоже. Не раз потом встречаясь с Симоновым, я убеждался, что благородного, порядочного в нем было куда больше, чем слабостей. Но долго еще присутствовало при нашем общении свернутое калачиком, упрятанное вглубь воспоминание о том собрании. Спросить его напрямую не хватало духу. Да и что он мог ответить? Легко судить тем, кто сидел в сторонке, ни за что не отвечал, домашние чистюли, которые сами ничего не отстояли, не участвовали, не избирались, не выступали. ...В те годы деятельность мешала блюсти душевную гигиену.

Однажды при мне к Симонову обратились студенты Ленинградского пединститута с просьбой выступить у них. Он отказался. Как-то излишне сердито отказался. Они удивились — в чем дело, почему? Он пояснил, что это к ним не относится. Вообще не хочет выступать: «Врать не хочу,— запинаясь, сказал он,— а говорить, что думаю, не могу. Вот так». Признание это в какой-то мере приоткрыло тяжкий труд его совести, и что-то я понял, далеко не все, но понял хотя бы, почему прощаю ему так много.

Мне казалось, что это только я, новобранец, так болезненно воспринял это собрание, так глубоко засело оно у меня в памяти. Немало ведь смертельных проработок происходило и в прежние годы в этом же зале. Изничтожали формалистов, космополитов, сторонников Марра, Веселовского, еще каких-то деятелей, отлучали, поносили за преклоне-

Окончание на стр. 29.



ПРИГЛЯДИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К ТЕМ СНИМКАМ, КОТОРЫЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В «ОГОНЬКЕ». ЭТО ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ЗАГОРСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА. ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНЕ — ЗДЕСЬ ЖИВУТ РЕБЯТИШКИ, ЛИШЕННЫЕ И ЗРЕНИЯ, И СЛУХА ОДНОВРЕМЕННО.
У НЕКОТОРЫХ НА ГЛАЗАХ — ОЧКИ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ ЗРЕНИЯ У НИХ СОХРАНЕНА, НО НАСТОЛЬКО НИЧТОЖНАЯ, ЧТО, В ОБЩЕМ, ЭТО ТОЖЕ ПОЧТИ ПОЛНАЯ СЛЕПОТА.

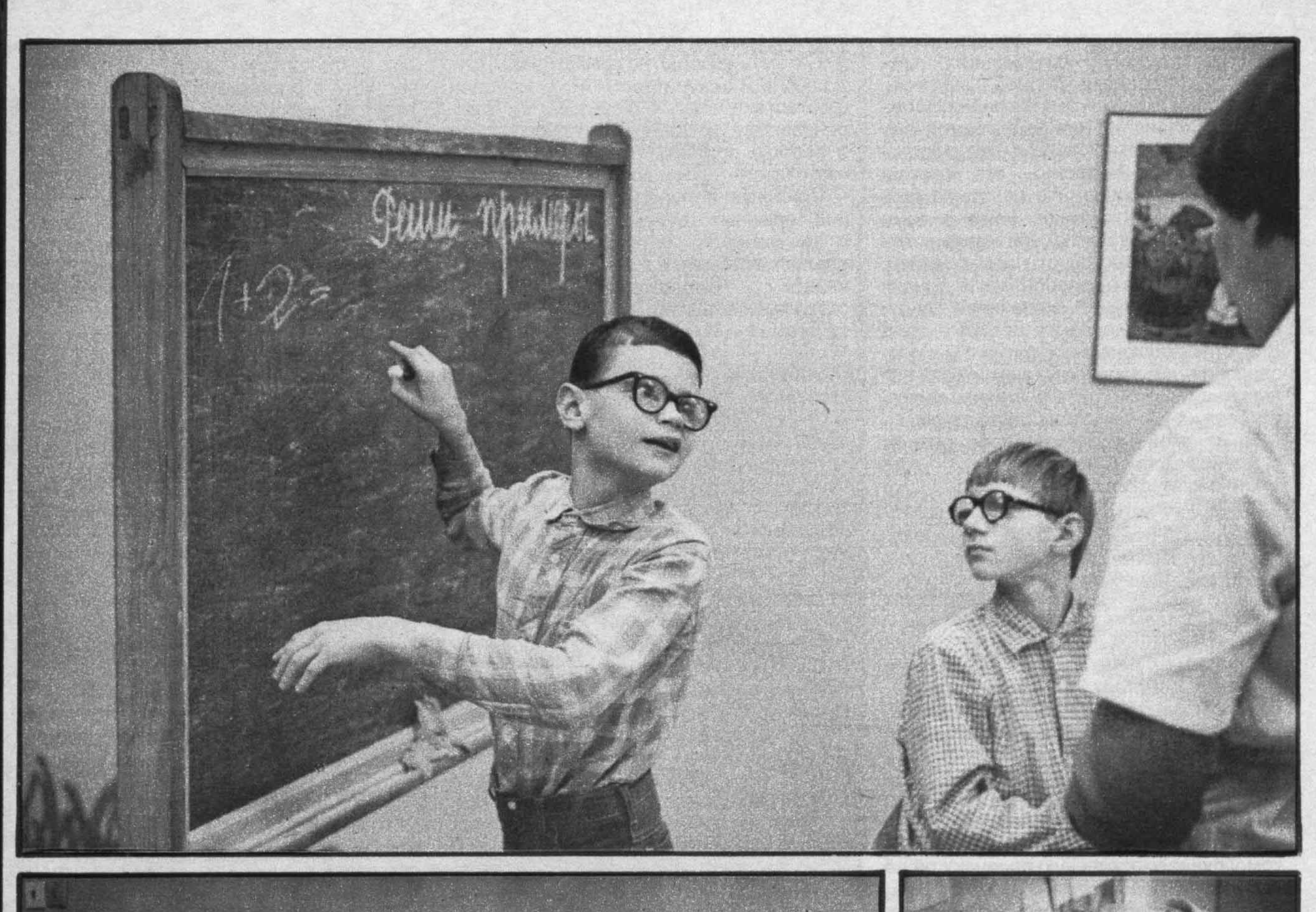
ЗАПАС ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Валерий ХИЛТУНЕН,
Валерий ЩЕКОЛДИН (фото)

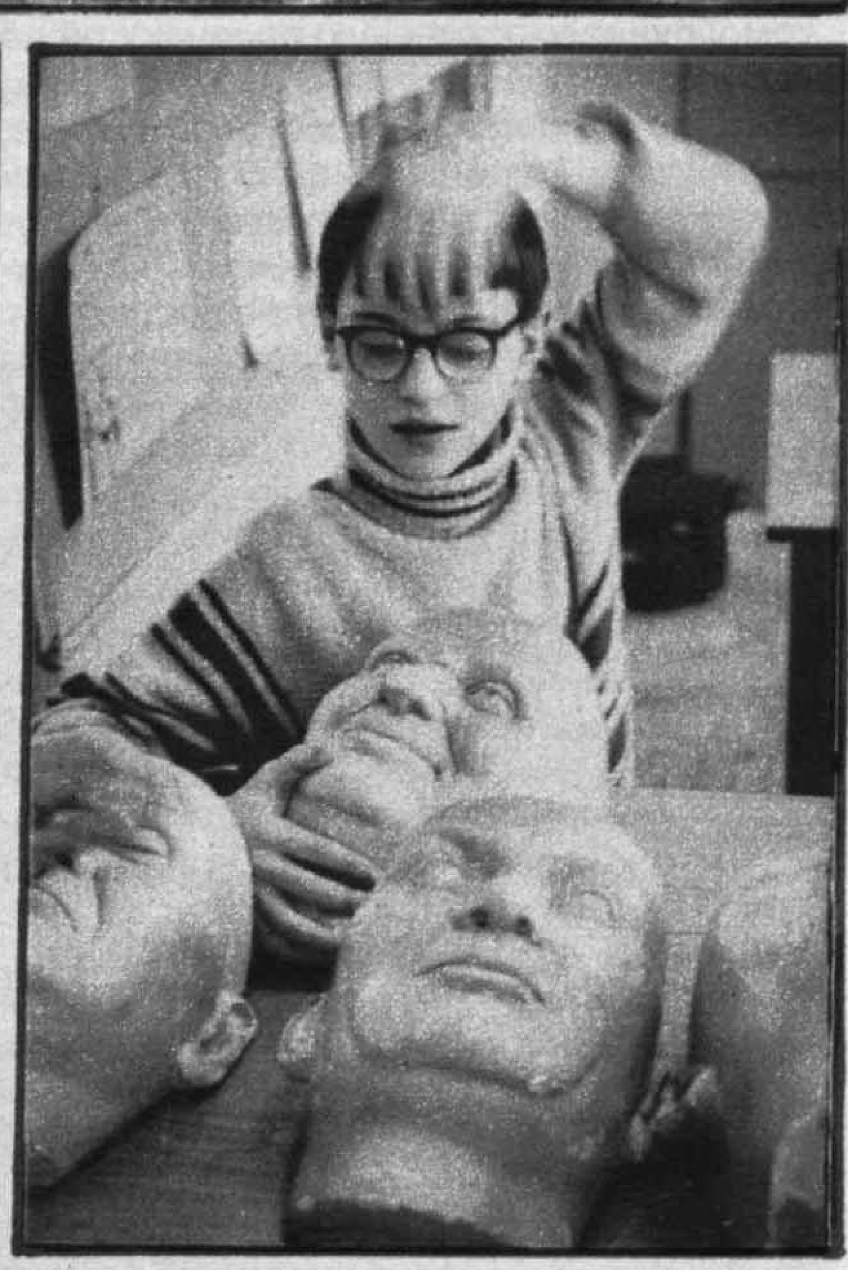
Долгие годы в советской прессе такие фотографии, как правило, публиковать было не принято, разве лишь на страницах специальных, а потому мало кем читаемых журналов. Считалось, что репортажи, где нечеловеческую борьбу с недугом ведут инвалиды и те, кто им помогает, не очень... хороши для рядового читателя. Лучше быть подальше от всего этого. Вот почему не у нас, а в ГДР появился в свое время документальный фильм, отснятый в Загорском детском доме. Все попытки показать его по Центральному телевидению успехом не увенчались, хотя картина сразу же получила приз — за гуманизм. Но то был заграничный кинофестиваль...

Здесь, в Загорском детдоме, очень просто распознаются люди. Есть и такие, кто даже вслух говорит или думает о том, что обитателей этого дома следовало бы еще в раннем детстве подвергнуть какому-нибудь безболезненному усыплению. А то и сами мучаются, рано или поздно начиная осознавать свою трагедию, и мучают общество, которое содержит этот дом, где на каждого воспитанника должен быть один, причем весьма хорошо оплачиваемый воспитатель — а как иначе тут обойдешься? А может быть, лучше не посвящать бедолаг этих в секреты нашего мира, не учить говорить их — чуть неестественным, как у робота, голосом, не учить мыслить, читать толстые книги, отпечатанные выпуклым шрифтом по системе Брайля... Бывший директор детдома А. В. Апраушев рассказывал, как он ездил к родителям слепоглухонемого мальчика, которые никак не решились расстаться с сыном и отправить его в Загорск. Мальчонка сидел взаперти в пустой комнате, абсолютно пустой — иначе он вечно натыкался на разные предметы, а из всех игрушек там у него имелась пустая кастрюля, которую он водружал себе на голову и колотил по ней руками. И вот этот детеныш человеческий (ведь оставленный в одиночестве слепоглухонемой малыш погибает сразу, кормить его надо с ложки) растет, становится человеком. Есть еще два фильма, отснятых уже советскими документалистами — в одном рассказывается о Саше Суворове, одном из выпускников детского дома, другой называется «Возвращение» — о молодых людях, вернувшихся из Афганистана и ставших друзьями детского дома.

В Загорске начинается великое









Доска в классе, книга, занятия музыкой... Всё как в обычной школе — и всё совсем необычно!

дело, которое в случае успеха можно назвать «чудом», «феноменом», «подвигом»... Корнеева, Лернер, Сироткин, Суворов — сегодня эти фамилии должны быть известны каждому грамотному человеку, потому что все, что произошло с ними в Загорске,— это попытка ответить на вопрос: кто мы такие есть на планете? Что такое наша с вами психика? Какую часть себе человек получает в наследство от папы с мамой, а какую должен приобретать в трудах своих ежедневных? Названные люди сумели после окончания детского дома для слепоглухонемых поступить в Московский университет, выучиться, заниматься наукой, писать стихи, творить из безжизненной глины скульптуры.

Я из этой четверки более знаком с Александром Суворовым.

Он пишет стихи.

А тишь такая хрупкая,
Из тонкого стекла:
Сдавил чуть-чуть —
и хрустнула,
Со звоном умерла.

...Позвонил один из друзей Суворова, который помогает ему «переводить» брайлевский текст на обычную машинку, и сказал, что готова новая подборка стихов.

...Ночь. Мы сидим у окна, Саша пытается напоить меня чаем, что получается у него не очень складно, хорошо бы, чтобы рядом была мама, но она в далеком Фрунзе, московскую прописку ей не дают, а ехать в Киргизию — это означает поставить крест на научной работе, потому что даже столица с трудом может обеспечить брайлевской литературой, секретарем-переводчиком, контактами с психологами, профессорами. Правда, с мамой вопрос со временем решился, она переехала к сыну. Только что она может одна, добрая мама, совершенно несведущая в вопросах генезиса человеческой психики? Был бы жив Эвальд Васильевич Ильенков, выдающийся советский философ, который и затеял в свое время всю великую эпопею с четверкой этих ребят. Но Ильенкова нет. Есть его небольшая скульптура на скромной могиле, затерявшейся среди пышных обелисков Новодевичьего кладбища.

Одно из самых щемящих мгновений, которые я испытал, связано с этой могилой. Александр Суворов, отделившись от группы пришедших на кладбище в день памяти Ильенкова, бредет, оставляя на снегу цепочку неуверенных следов, среди чужих могильных плит ощупью находит каменное изваяние учителя, обнимает его, целует в голову, гладит... Он уже не такой наивный, этот молодой ученый, Александр Суворов. Когда был помоложе, удивлял совершенно невероятными вопросами. В ответ на мой: «Саша, а ты прочел все эти толстые книги и весь «Капитал», исполненный на Брайле? Ведь он занимает целую полку?» «Конечно. А что — кто-то из зрячеслышащих не читает? Как живут тогда?» «Нет,— успокаиваю его, чтоб не волновался и не думал про нас, «зрячеслышащих», дурно,— мы тоже «Капитал» читаем».

По Москве ему приходится ходить со специальной табличкой — иначе затолкают. Огромная проблема — высокие платформы на станции Загорск, куда он ездит из Москвы, чтобы помочь в меру сил младшим собратьям, будущим выпускникам детдома.

Вот это стих!
Такой вздымает ввысь,
И сердце резкой болью
разум будит.
И бьется мысль об эту
стену — жизнь,—
Не спится людям, выход
ищут люди.

А. В. Апраушев, бывший директор Загорского детского дома, написал как-то в журнале «Наука и жизнь», что слепоглухонемые дети, вырастая, не уступают нам, а кое в чем дают и «фору»: они могут быть абсолютно грамотными. Трудолюбие и аккуратность их — на грани фантастики, все они с презрением отворачиваются от табака и алкоголя, да и вообще воля их такова, что эпитет «железная» здесь слишком мягок.

Однажды я писал, укоряя директоров обычных детдомов и ставя им в пример этот, загорский: «Вам всем удалось воплотить в жизнь заветы Макаренко по поводу всамделишного детского производства — с теплицами, мастерскими? И оно, это производство, у вас совершенно безотходное, как у Апраушева, который любую засохшую горбушку может приспособить к делу? А выпускники ваши могут иметь дело со всевозможными видами монтажа, вплоть до плат цветных телевизоров? Чтобы посмотреть, как это бывает, поезжайте в Загорск. Детский дом, которому по «традиции» отводилось незавидное место где-то на самой периферии специальной педагогики для инвалидов, дерзко взялся отвечать на те вопросы, над которыми ломают головы — не слишком успешно порой — и массовая школа, и миллионы родителей. Как преодолеть детскую лень? С какого возраста и как платить подросткам за работу в мастерских?»

На самом необычном комсомольском собрании я был здесь, в Загорске. Так и не сумел понять, что за вопросы значились в повестке дня! Все происходило в тишине, да и свет, в общем, зажгли, кажется, лишь для нас, приглашенных. Им, комсомольцам, ни свет, ни звук на собрании не были нужны. Сидели кругом, взяв друг друга за руки. Комсорг что-то яростно «передавал» соседу, сидевшему слева от него,— пальцы быстро-быстро ударяли в ладонь, дактильная азбука — это лишь для непосвященных вроде китайской грамоты, а осилить ее, в общем, за несколько дней можно — правда, годы и годы тренировки требуются для того, чтобы «говорить» со скоростью, сравнимой со скоростью обычной человеческой речи. Юноша, сидевший рядом с комсоргом, «передавал» сказанное следующему — «так по кругу», пока до каждого не доходило. Иногда, с чем-то не соглашаясь, кто-то начинал отчаянно жестикулировать, живая цепь приходила в движение. Я с грустью думал, что такого оживления почти не приходилось мне наблюдать на других собраниях, где и трибуна была, и микрофон.

Правда, это собрание было еще в семьдесят девятом году. В том же году появился в газете материал под названием «Семь нот в темноте». Эффект оказался весьма неожиданным. В редакцию посыпались письма: «Мы, учащиеся школы номер... решили сделать девизом нашей комсомольской организации слова из стихотворения Саши Суворова —

Сложно только
не забыть
В драке вечной,
Как бы в сердце сохранить
Человечность».

Слали деньги, посылки, спрашивали, чем можно помочь детскому дому. Не было тогда еще Фонда социальных изобретений, поэтому мы отвечали всем энтузиастам стандартными словами благодарности, заверяли, что будем внимательно следить за тем, как будут развиваться события со строительством нового комплекса. Стыдно, что уникальное научно-педагогическое учреждение пока размещается в развалюхе дореволюционного происхождения, а новые корпуса все никак не выйдут из нулевого цикла. Заверения наши были излишне оптимистическими. Но и сегодня нового комплекса не предвидится. Министерство социального обеспечения, в ведении которого по иронии судьбы находится загорский «психологический синхрофазотрон», как иногда именуют детдом, оказалось не в состоянии кардинально изменить ситуацию в Загорске ни в годы застоя, ни, увы, в эпоху перестройки. Рассказывают, что когда к высокому собесовскому чину в очередной раз пришли очередные доброхоты (о судьбе загорского эксперимента пекутся в меру сил и ученые, и литераторы), тот демонстративно сунул их гневное письмо, увенчанное множеством известных в стране подписей, в кипу бумаг. «Тут,— объяснил он,— лежат невыполнимые по объективным причинам распоряжения высоких лиц! А что мы можем, если даже старых большевиков мы не можем пока обеспечить сносными условиями жизни, а вы — о слепых, глухих, немых...» По стечению обстоятельств на плечи именно загорских строителей свалился и ремонт Лавры, пострадавшей после пожара, а скоро 1000-летие крещения; да и с жильем в городе не лучше, чем повсюду. Мудрено ли, что детский дом вовсе не числится среди первостепенных объектов ни у городских властей, ни у прорабов?

Но вернемся к октябрю 1979-го. После той публикации люди начали — поодиночке и целыми группами — приезжать в Загорск, для того чтобы собственными глазами удостовериться, не преувеличила ли газета, описывая «загорское чудо», а удостоверившись, предлагали свои услуги и деньги. Апраушев поначалу забеспокоился, как бы всевозрастающий поток приезжих не парализовал нормальную детдомовскую жизнь. А тут еще неизвестные злоумышленники ночью забрались в сарай, барашка украли, собаку — отраду маленького слепого и глухого цыганенка по имени Радж — умудрились стащить. Да и в педагогическом коллективе нет единодушия. Коллектив почти целиком женский, и тезис о необходимости труда и политехнизма тут принимают с трудом. Ведь обездолены, мол, дети, им уют нужен, покой, уход, питание! Но Апраушев гнул свою линию про кроликов и мастерские: мол, для этих ребят если и опасно что, так это покой и уют. Бывало и такое: Апраушев уходит в отпуск, а через несколько дней неизвестный по телефону вызывает в детдом представителя санэпидстанции, чтобы увидел ужасающую картину — вообразите, во что превращаются кроличьи клетки, если их несколько дней не чистить! Ясное дело, СЭС все это безобразие быстренько ликвидирует. Апраушев возвращается из отпуска и приходит в ярость. Скажете, нужно быть поспокойнее, и будете правы, но нервы директора не выдерживали. Как говаривал Антон Семенович Макаренко, впервые столкнувшись в свое время с московскими школами: «...даже у меня, у которого давно уже тросы вместо нервов...» Тут, в Загорске, и впрямь нервы должны быть особые. Привозят мальчишку — жертву аборта: в прямом смысле мать травила его в чреве, пригоршнями глотала всякие пакостные снадобья, но недотравила. Живуч оказался малец, только на свет появился мало того, что без слуха и зрения, так еще и коркой был покрыт.

Но в Загорске и с ним возились, насколько сил хватало. Апраушев однажды увидел парнишку стоящим на лестничном марше. Подняв руки вверх, он на мудреном своем дактиле передавал какую-то неясную просьбу ли или молитву, и было это так страшно, что не спать бы Альвину Валентиновичу в ту ночь, если бы другая эмоция не уравновесила впечатление прожитого дня. В который раз — уж не в седьмой ли? — вызывали его в судебную инстанцию, где снова выступал он ответчиком против бывшей своей подчиненной сотрудницы, утверждавшей, будто он швыряет с балкона арбузные корки, причем норовит попасть ей прямо под ноги. У Апраушева за эти годы скопилось немало любопытных справок, оповещающих, что данный кандидат педагогических наук НЕ делал того, НЕ пытался сего... Цитировать не стану, потому как Альвин Валентинович до сих пор не очень понимает, за что его сместили с поста директора, поскольку обвинения, которые против него выдвигались, были на таком же уровне! Сейчас он завучем работает, но Министерство социального обеспечения, судя по всему, откровенно мечтает, чтобы сия трудноуправляемая личность куда-нибудь делась из Загорска, занялась, например, чистой наукой.

Он бы, может быть, и рад, так ведь нет пока в стране места, где бы изучались те проблемы, над которыми бились его учителя и наставники — Соколенский, Мещеряков, Ильенков. Детьми-инвалидами занимается Институт дефектологии АПН СССР. Но это совсем про другое, это не про то, как из ничего возникает личность, а про дефект, оттого и название такое — Институт дефектологии. Чья уж тут вина, беда, несчастье, не знаю, но дефектология в том состоянии, в каком она нынче пребывает, «загорский синхрофазотрон» не вытянет. Тут нужна комплексная междисциплинарная программа с интернациональным, научным коллективом, как в Дубне, поскольку душа человека, его психика во сто крат сложнее самого сложного из атомных ядер.

Это мечты, а что есть хорошего в Загорске сегодня? Помните тех чудаков, которые начали приезжать сюда в 1979-м?

С тех пор почти каждую субботу и воскресенье приезжают московские школьники и студенты в Загорский детский дом. Приезжают, чтобы оказать посильную помощь педагогам в их работе. Детдом стал частью жизни и ребят — студентов Московского института радиотехники, электроники и автоматики, и они решили объединиться в коммунистический стройотряд.

— Зачем нужна тебе, Андрей, табличка эта? — спрашиваю я у комиссара отряда А. Вакуленко.— Разве лучше будут работать ребята, если назвать их строительным отрядом?

— Лучше, чем они работают, уже невозможно работать! Потому что они выкладываются на полную катушку. Но хочется определенности — как-то ведь надо называться?

Отряд в Загорске тем хорош, что он не прекращает свое существование на исходе августа, когда начинаются занятия. Снова и снова будут возвращаться студенты на место летней дислокации. Кроме того, нам важно, что отряд именует себя строительно-педагогическим, и это не просто слова: студенты всерьез пытаются приобщиться к великому делу воспитания... Город просил москвичей организовать в парке культуры работу со школьниками. И теперь, отработав на укладке асфальта у детского дома, студенты выходят на летнюю эстраду и поют под гитару. Они и приглашают в свой «отряд-спутник» подростков, ничего особенного им не суля, и подростки, большинство из которых ранее не удосуживались заглянуть в детский дом, хотя он расположен едва ли не в самом центре главного проспекта,— приходят...

Оказалось, в каждом молодом человеке на самом деле живет тоска по субботникам, желание приобщиться к безвозмездному и великодушному делу. По такому, где видишь реальные плоды своего труда.

Судя по всему, в Загорске рождается новое явление — на стыке стройотрядов и коммунистических субботников. Как назвать его? Вспоминаю один из первых субботников. Было какое-то международное церковное совещание, и участники его обедали в фешенебельном «Золотом кольце», расположенном через дорогу от детского дома. Старухи в дорогих одеждах и с золотыми крестами, пожилые мужчины, подобрав сутаны, шли по мосткам, перекинутым через канаву, прорытую студентами через проспект,— теплотрассу. «О, инициатива?!» — удивилась аббатиса. Переводчик не сумел толком объяснить: то, что она увидела, не работа, а «свободный труд свободно собравшихся людей!».

Я видел ребят, отдававших детскому дому по сорок часов в неделю, не

смотрела друг на друга мокрыми от умиления глазами, старушки раздавали милостыню... На той стороне пруда всю ночь продолжался престольный праздник, а на этой горел костер.

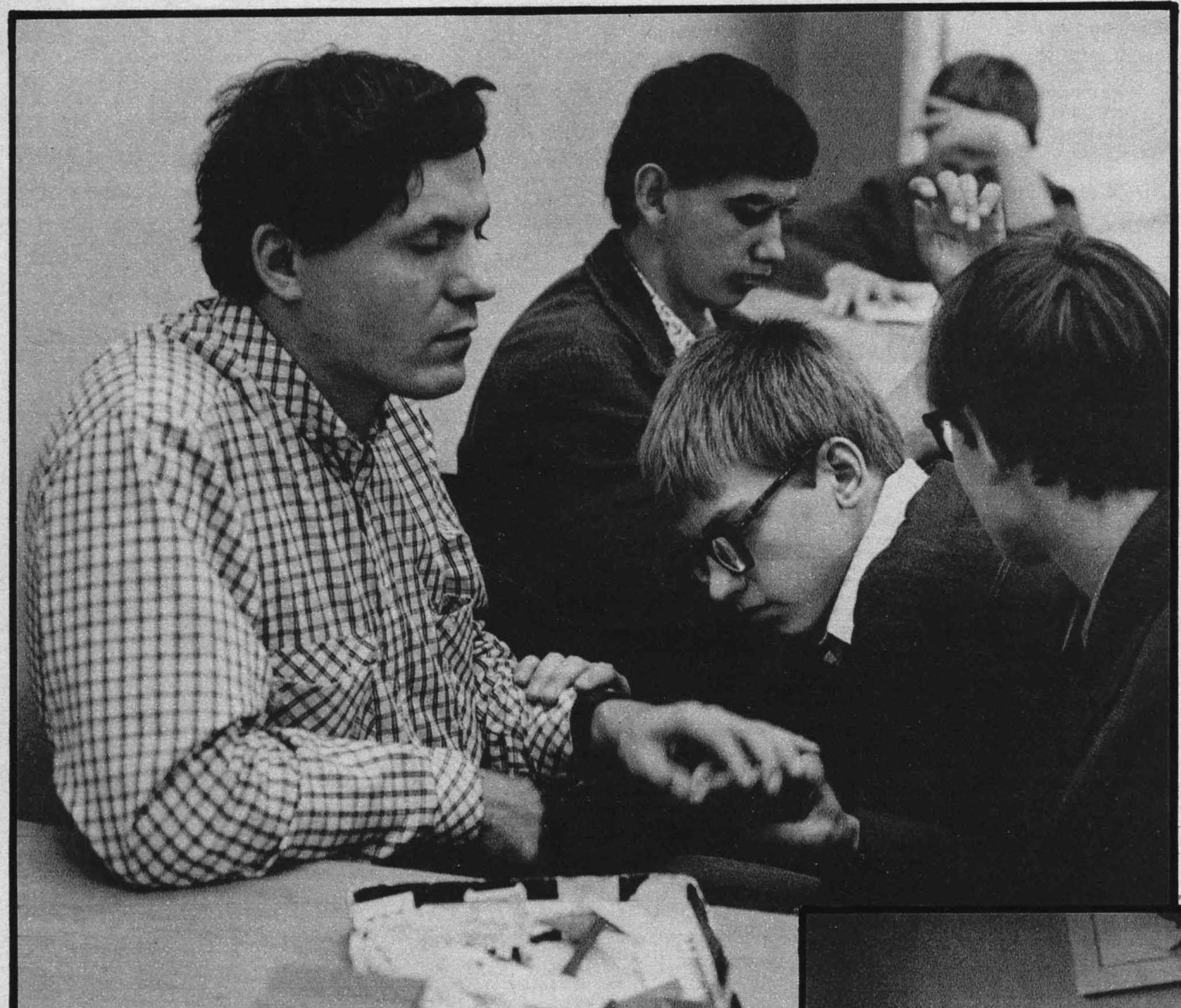
По правую руку от директора сидела цыганка Мария. Многодетная мать, один из сыновей которой оказался волей судьбы в детском доме. Приехала проведать. Радж тоже сидел у костра — он не очень понимал, что такое мать, да и не любил он ее. За что любить, если не оставили в таборе? Мария, будто перед всем миром оправдываясь, говорила, что не место в таборе слепоглухонемому мальчишке... Подоткнув под себя бесчисленные свои юбки, поила студентов чаем, что-то рассказывала, о чем-то расспрашивала. Было видно, что ей у костра хорошо.

Местный философ, из студентов, спросил: а правда ведь при коммунизме люди опять перейдут на кочевой образ жизни и будут более всего на свете любить детей, дорогу, свободу, цветы, коней?.. Он загибал пальцы на руке. На одном из пальцев была мозоль — сегодня натер от неумелого обращения с лопатой. Он посмотрел на этот палец и произнес с сомнением: ну, а ведь работы физической в будущем не должно быть?

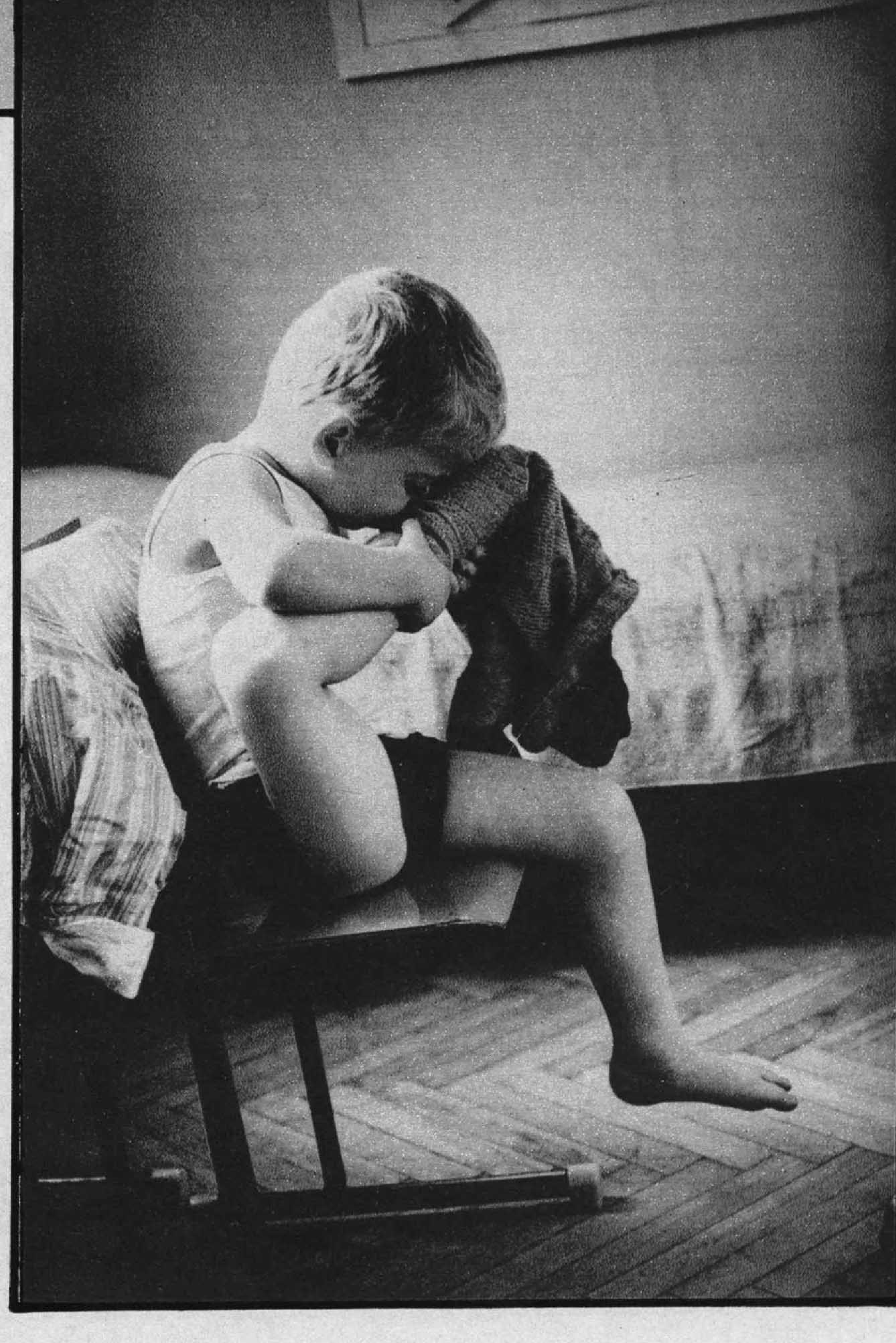
— Дурак,— ласково сказал кто-то из темноты.

И он обиженно умолк.

Но потом Славик — другой, которому еще отнюдь не двадцать, взял в руки шестиструнку, и все стало на свои места. А когда песня кончилась, Андрей Вакуленко сказал, придав лицу суровость, что отбой — это отбой, и умыкнул гитару...



Для них, новичков, Александр Суворов (слева) — УЧИТЕЛЬ.



считая дороги из Москвы. Приезжали вечером в пятницу, а уезжали в воскресенье после обеда. Это были, как правило, молодые рабочие, у них ведь пятидневка. Студенты появлялись в субботу. Практически все сорок часов шла работа: если не ломали, то строили, если не строили, то вели с малышами переговоры на дактильном языке, что хотя и не так трудно, как кажется с непривычки, но у меня, например, так и не получается беглого разговора. Впрочем, я приезжал в Загорск от случая к случаю, а они там вроде как постоянно прописались. Немудрено, что освоились: другие навострились печатать на машинке со специальным шрифтом для слепых.

...Пока парни ломают, корчуют и таскают, девчонки кашеварят. Детский дом по санитарным условиям не может кормить «пришельцев» в своей столовой — скатерти стелются в самом большом из «караван-сараев». Сквозь мутное окошечко видны огни шикарного ресторана «Золотое кольцо». Там надрывается ансамбль, там слышен хор нестройный, но нам туда не надо. Не оттого, что пусты кошельки,— это причина номер два. А номер один — там, понимаете, тоска! Жанр не тот. «Золотое кольцо» на одном берегу пруда, Лавра — на другом. На третьем углу символического этого треугольника — детский дом. Здесь бывает не менее весело, чем в «Золотом кольце», но и речи звучат не менее торжественные, чем в Лавре. Вот такая получается тригонометрия...

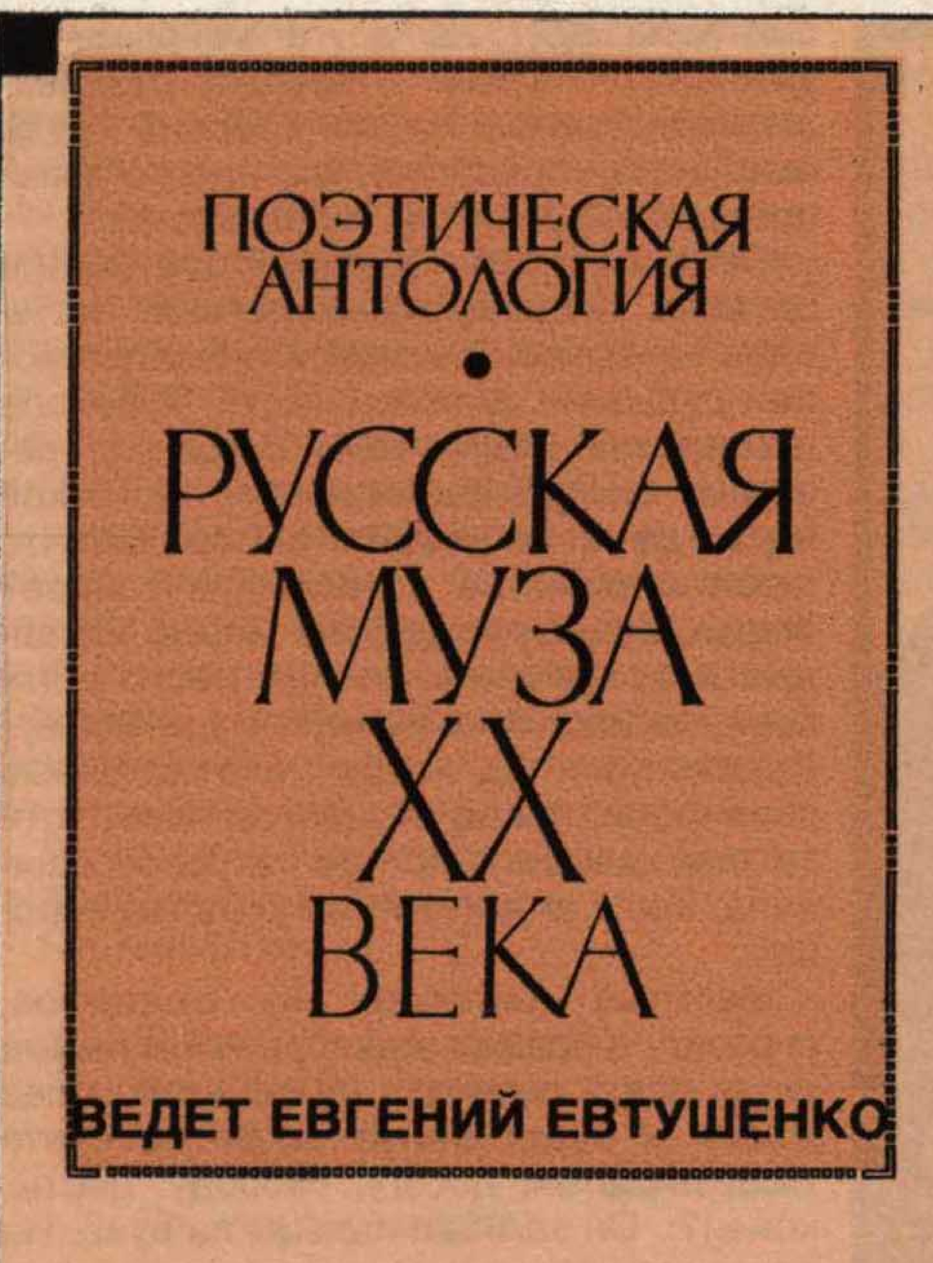
В престольные праздники мимо детского дома в Лавру валят толпы молодых москвичей — для перевозки страждущих приходится назначать дополнительные электрички. Детский дом — на пригорочке. Через забор видна эта толпа. Они непохожи на верующих — молодые, сытые, приехали поглазеть. Многих затянуло общим потоком. Здесь, по ту сторону забора, такие же молодые люди. Но их не манит туда, в Лавру. О великом они размышляют здесь, на пятачке детского дома.

Я видел здесь и «ярых» болельщиков, помешанных на своих спортивных кумирах, и хиппиобразных юношей, когда они, ошибаясь адресом, заглядывали в детский дом. Их разглагольствования здесь не пользовались популярностью, разве только в моменты перерывов, когда, в общем, усталым людям было все равно, о чем слушать. В полудреме слушали и про похождения юных московских шалопаев. Возражать не возражали — язык уже не поворачивался. Судили, как и всех: если бестолковый и ленивый, грош тебе цена, хоть и красноречив.

Но, может, они приезжают сюда, в Загорск, за травой забвения? Может, им неуютно в большом городе, где незнакомые люди не очень часто улыбаются друг другу?

Я вспоминаю: где, на каком мероприятии я видел самых оживленных студентов? О чем шла речь? Модный психотерапевт на занятии клуба «Алкид» объяснял, как нужно вести себя в транспорте. Карнегги, Харрис, психодрама — все шло в дело, и все для чего? Чтобы с наименьшими потерями, с наименьшим количеством контактов добраться до дому... Зачем горожанину лишние контакты, если их и так по двадцать тысяч в день набирается! Я грустно подумал: так ведь всю жизнь можно прожить, старательно оберегая себя от лишних контактов, пока вдруг не обнаружишь, что тебе и вовсе не хочется с людьми. Глаза бы на них не глядели! И одиночество прекрасней!

Толпа одиноких целовалась, пела,



ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ • РУССКАЯ МУЗА XX ВЕКА
ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Иосиф УТКИН

1903—1944

Самое знаменитое произведение Уткина «Повесть о рыжем Мотэле» вышло, когда автору было всего 22 года. Очаровательное сочетание самоиронии в описании еврейского местечкового быта и сентиментальности, характерное для прозы Шолом-Алейхема, для витебских картин Марка Шагала, пожалуй, впервые через Уткина выразилось и в поэзии. Мягкий лиризм Уткина противостоял железному громыханию пролеткультовщины, и, видимо, именно поэтому Луначарский заметил, что в работе Уткина есть «музыка перестройки наших инструментов с боевого лада на культурный». В раннем Уткине можно разглядеть интонационное начало лучших стихов Светлова, Голодного. Над Уткиным жестоко подтрунивал Маяковский, по-детски завидуя его успеху у женщин, его роскошной игре на бильярде и насмешливо цитировал: «не придет он так же вот», говоря, что получается «живот». Близки к самопародии были и такие строки Уткина: «Красивые во всем красивом, они несли свои тела» или «берет за грудь певучую безусый комиссар» (это о гитаре!). Популярность Уткина быстро прошла вместе с его молодостью. Но он, нисколько не впав в завистливость, посвятил жизнь воспитанию молодых поэтов. Погиб в авиационной катастрофе, возвращаясь с фронта.

ПИСЬМО

...Я тебя не ждала сегодня
И старалась забыть, любя.
Но пришел бородатый водник
И сказал, что знает тебя.

Он такой же, как ты, лохматый,
И такие же брюки-клеш!
Рассказал, что ты был
под Кронштадтом.
Жив...
Но больше домой не придешь...

Он умолк.
И мы слушали оба,
Как над крышей шумит метель.
Мне тогда показалась гробом
Колькина колыбель...

Я его поняла с полслова.
Гоша,
Милый!..
Молю!..
Приезжай...
Я тебя и такого...
И безногого...
Я люблю!

1923

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы
У него.

Над ним неделю измывался
Японский офицер в тюрьме,
А он все время улыбался:
Мол, ничего «не понимэ».

К нему водили мать из дому.
Водили раз,
Водили пять,
А он: «Мы вовсе незнакомы!..»
И улыбается опять.

Ему японская «микада»
Грозит, кричит: «Признайся сам!»
И били мальчика прикладом
По знаменитым жемчугам.

Но комсомольцы на допросе
Не трусят
И не говорят!
Недаром красный орден носят
Они пятнадцать лет подряд.

...Когда смолкает город сонный
И на дела выходит вор,
В одной рубашке и в кальсонах
Его ввели в тюремный двор.

Но коммунисты
На расстреле
Не опускают в землю глаз!
Недаром люди песни пели,
И детям говорят про нас.

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

1934

ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ
(отрывок)

ЖИЛИ-БЫЛИ

Сколько домов пройдено,
Столько пройдено стран.
Каждый дом — своя родина,
Свой океан.

И под каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба,—
Свое счастье,
Свои мыши,
Своя судьба...

И редко,
Очень редко —
Две мыши
На одну щель!

Вот: Мотэле чинит жилетки,
А инспектор —
Носит портфель.
И знает каждый по городу
Портняжью нужду одну.
А инспектор имеет
Хорошую бороду
И хорошую
Жену.

По-разному счастье курится,
По-разному
У разных мест:
Мотэле мечтает о курице,
А инспектор
Курицу ест.

Счастье — оно игриво,
Жди и лови.
Вот: Мотэле любит Риву,
Но... у Ривы
Отец — раввин.

А раввин говорит часто
И всегда об одном:
«Ей надо
Большое счастье
И большой
Дом».

Так мало, что сердце воет,
Воет, как паровоз.
Если у Мотэле все, что большое,
Так это только
Нос.

«Ну, что же?
Прикажете плакать?
Нет, так нет!»
И он ставил заплату
И на брюки,
И на жилет...

....

Да, под каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба,—
Свое счастье, свои мыши,
Своя
Судьба.

И сколько жизнь ни упряма,
Меньше, чем мало,— не дать.
И у Мотэле
Была мама,
Еврейская старая мать.

Как у всех, конечно, любима.
(Э-э-э... об этом не говорят!)
Она хорошо
Варила цимес
И хорошо
Рожала ребят.

И помнит он годового
И полугодовых...

Но Мотэле жил в Кишиневе,
Где много городовых,
Где много молебнов спето
По царской родовой,
Где жил господин инспектор
С красивой бородой...

Трудно сказать про омут,
А омут стоит
У рта:
Всего...
Два...
Погрома...
И Мотэле стал
Сирота.

«Так что же?
Прикажете плакать?!
Нет, так нет!»
И он ставил заплату
Вместо брюк на жилет.

....

А дни кто-то вез и вез.
И в небе
Без толку
Висели пуговки звезд
И лунная
Ермолка

И в сонной, скупой тиши
Мыши пугали скрипом.
И кто-то
Шил
Кому-то
*Тахрихим *.*

* Тахрихим — саван.

1924—1925

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Рязанец прорвется:
«А ну, давай!»
И снова
Ни форм,
Ни лиц.
И рельсы
Бросаются под трамвай
С настойчивостью
Самоубийц.

И снова
Диктаторскою рукой
«Паккарды», «рено», людей
Проводит,
Ведет конвейер Тверской
К побоищам площадей.

Попробуй прорвать
Этот чертов мост,
Встать ему поперек!
И черная дума,
Как черный пес,
Путается у ног...

«...Наивен лирический
Твой шалаш
Среди небоскребов,
Поэт.
Напишешь фруктовую песню,
Продашь:
Прорвался — и снова нет.

И глупо.
Не стоит писать.
Для чего
Расходовать кипы сил?
Чтоб люди сказали:
«Да, ничего...»
А девушка:
«Ах, как мил!»

Эпохе сподручней
Огонь, и желчь,
И мужество до конца,
Чтоб жечь, понимаешь,
Глаголом жечь,
Как Пушкин сказал, сердца!..»

На Староваганьковском —
Русский сад...
На липах под медь — броня,
Над садом крикливо
Лоскутья висят
Московского воронья.

Среди индустрии:
«Вороний грай»,
И «Машенька»,
И фасад.
И вот он —
Гремит гумилевский трамвай
В Зоологический сад.

Но я не хочу
Экзотических стран,
Жирафов и чудных трав!
Эпоха права:
И подъемный кран —
Огромный чугунный жираф.

Эпоха права!
И мне хочется встать
Эпохе во фланг
И рост...
Для этого стоит
И жить,
И писать...
И нянчить туберкулез.

1929

КОРОЛЕВСТВО РЕЗО



Мария ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Игоря ГАВРИЛОВА,
Леонида ЗИНКЕВИЧА

В то время, когда царства, государства и удельные княжества театрального архипелага сотрясались бунтами и революциями, обдувались ледяным дыханием термидоров, на этом острове царила безмятежность и гладь. Здесь не было бурных дискуссий о выборном или назначенном худсовете, поскольку худсовета здесь нет и никогда не бывало. Говорят, по той простой причине, что никак нет времени разобраться, что за образование такое — худсовет, не остаток ли это акционерного общества... Здесь ни на минуту не пошатнулся трон самодержца

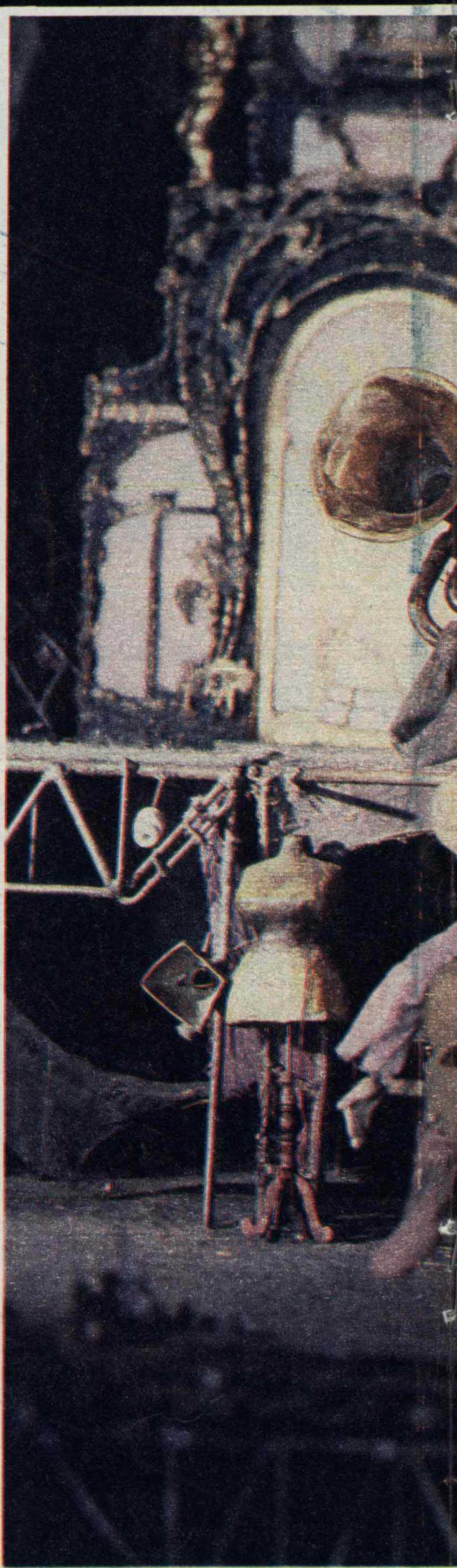




Сцены из спектакля народного артиста ГССР Резо Габриадзе «Осень нашей весны».

острова и никем не обсуждалось его право на власть. Да и кому вздумалось бы это делать, если с самого начала появления острова здесь демократическим большинством установлена абсолютная монархия. И вся верховная власть отдана в руки того, кто придумал это государство и сотворил, дал ему Закон. Им живо оно и хранимы его верные пажи и оруженосцы. Вот уж кто с полным правом мог бы воскликнуть: «Государство — это я!»

...Я часто вспоминаю «Необыкновенную выставку», «Не горюй!», «Бабочку», «Серенаду», «Кувшин», «Белые камни». Эти фильмы сняты разными режиссе-


рами, в разных интонациях, манерах, стилистиках, определенных неповторимостью их личностей. Но все же родственное в этих фильмах есть. Сценарии их написаны Резо Габриадзе. И это не просто обозначение имени в титрах, как часто, увы, бывает порой, когда только имя и остается свидетелем безликого авторства. Это точное, конкретное присутствие Автора. В большей или меньшей степени воплощенное режиссером, но его собственное, совершенно самостоятельное существование.

И это естественно. Потому что Резо Габриадзе создает м и р. Вернее, этот

Продолжение на стр. 25.





ВАХШ: ЕСТЬ ПЕРЕКРЫТИЕ!

Рогун расположен на границе Памира и Тянь-Шаня. Обычно в это время здесь сугробы, но в конце минувшего года вместо снега на ветках миндаля появились цветы. Может быть, погода сделала подарок гидростроителям, которые готовились к перекрытию Вахша? Перекрытие откладывали несколько раз, но больше отступать было некуда: подпирал срок весеннего паводка, а паводок не перенесешь...

Марк ШТЕЙНБОК
Фото автора

Начальник Рогунгэсстроя Николай Григорьевич Савченков накануне перекрытия не походил на приветливого хозяина:

— Что вам нужно от бедного строителя? Дата перекрытия утверждена... Все данные в парткоме...

Секретарь парткома стройки Мурод Садулоев показал альбом в бархатном переплете:

— Здесь наша история в фотографиях. Первый митинг — 1976 год; пионерский поселок гидроэнергостроителей Сари-Пулак; новый поселок Рогун. Год назад он получил статус города. Строительство дорог, туннелей, стройплощадок, бетонного завода... Панорама строительства. Мы сейчас находимся на дне будущего водохранилища. В зону затопления попадают десятки кишлаков, райцентр Комсомолабад. Предстоит переселить более пятнадцати тысяч жителей.

Створ — ущелье. Два высоких — метров по пятьсот — скалистых берега сжимают Вахш. Выныривая из туннелей, по узкому карнизу над рекой и по подвесному мосту двигались машины. Грохот воды смешивался с шумом моторов. Разобраться, что здесь происходит, помог заместитель главного инженера Анатолий Иванович Колесниченко:

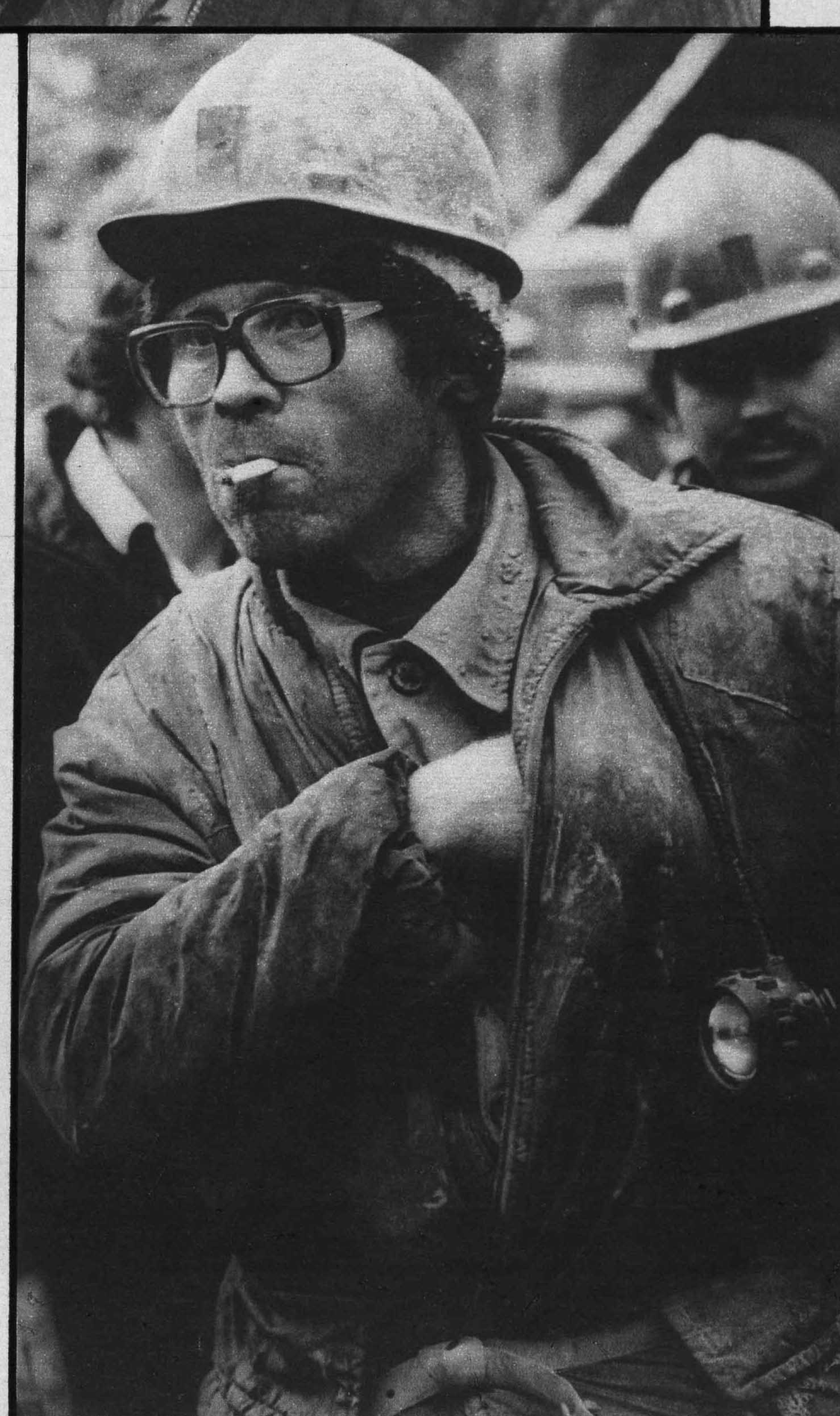
— Сейчас сужаем русло в месте перекрытия, укрепляем берега, готовим строительный туннель к пропуску воды. Она пойдет через него, когда Вахш будет перекрыт. Осушим русло реки и построим каменно-набросную плотину высотой триста тридцать пять метров. Наша плотина будет самой высокой в мире. Чем выше перепад воды, тем выше мощность ГЭС. У нас она составит три миллиона шестьсот тысяч киловатт. Гидроузел будет иметь громадное ирригационное значение. Инженерные сооружения гидроузла практически все будут под землей. Скалы здесь будут напоминать швейцарский сыр: более шестидесяти километров туннелей!

Рано утром в день перекрытия на створе было удивительно спокойно. Техника, разукрашенная лозунгами, заняла исходные позиции. Вахш не подозревал, что на этом участке он течет последние часы за долгие тысячелетия своего существования... Главный покоритель реки в одиночестве перешел по подвесному мосту на другой берег, поговорил с экскаваторщиком, подошел к туннелю...

— Николай Григорьевич, спали сегодня?

— Как Штирлиц... Помните, Штирлиц прикорнул на руле и через двадцать минут проснулся бодрым и свежим!

Прибыли автобусы с гостями и зрителями. Из двух «КамАЗов» соорудили трибуну, провели митинг. Затем перерезали ленточку и открыли туннель, но Вахш не оставлял старое русло. Тогда в реку столкнули первые многотонные валуны-негабариты. Река не обратила на них внимания. Негабариты сносило вниз по течению. В ход пошли девятитонные цементные кубы. Вахш их растащил: связки по три бетонита тоже уплывали! Тогда стали сталкивать связки бетонитов по шесть, а потом и по двенадцать штук, а сверху присыпали их галечником и валунником. Работал конвейер: экскаваторы, краны, многотонные «БелАЗы» и бульдозеры. Дело шло не так быстро, как предполагали. С берегов навстречу друг другу стали





расти две каменные шпоры, и Вахш закипел в проране!.. Стало темнеть, зажгли искусственное «солнце». Большая часть болельщиков рассосалась, остались самые стойкие.

В паузе крановщик Константин Ибрагимов высунулся из кабины и протянул мне стакан чая и лепешку:

— Перекуси, а то язву заработаешь! Я имел такое счастье... У меня тут всегда чайник! Мы с напарником Володей Фролкиным за последний месяц по триста двадцать часов отработали... Каждый!

Я — к начальнику Николаю Григорьевичу: «Как обстановка?»

— Плохо...

— К утру перекроете? — мой бестактный вопрос.

— Трудно обещать...

Николай Григорьевич боялся сглазить. Но дело двигалось к развязке.

Вахш перекрыли в 2 часа 55 минут уже 28 декабря 1987 года. Проран сомкнулся. Первым по перемычке перебежал шофер Махмади Атахонов — специально сторожил момент! В 6 утра по перекрытию прогнали первый «БелАЗ».

На следующий день укрощенный Вахш хлестал из выходного портала туннеля. И, как бы не желая окончательно сдаться, просачивался через перемычку.

— Фильтрация десять кубометров в секунду,— объявили наблюдатели.

ПО СЛЕДУ ТВОЕЙ КРОВИ НА СНЕГУ

ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА ИЗВЕСТНЫЙ КОЛУМБИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС ПОБЫВАЛ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ И В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ ПООБЕЩАЛ ПРИСЛАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ «ОГОНЬКА» РАССКАЗ.
МАРКЕС СДЕРЖАЛ СЛОВО; СДЕРЖИВАЕМ СВОЕ СЛОВО И МЫ, ПУБЛИКУЯ В ОТВЕТ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПИСЬМА ОЖИДАЕМЫЙ РАССКАЗ МАРКЕСА.

Габриэль **ГАРСИА МАРКЕС**



Когда они подъехали к границе, уже под вечер, Нэна Даконте увидела, что из пальца в обручальном кольце все еще шла кровь. Испанский жандарм в грубошерстной накидке с капюшоном поверх лакированной треуголки долго изучал при свете карбидного фонаря их паспорта, едва удерживаясь на ногах под напором ветра с Пиренейских гор. И хотя оба паспорта были дипломатическими и в полном порядке, жандарм поднял фонарь повыше и перевел взгляд с фотографий на лица. Нэна Даконте, еще совсем девочка с глазами счастливой птахи и цвета патоки кожей, излучавшей карибское солнце в хмурые январские сумерки, была укутана до подбородка в норковую шубу вроспуск, какую не купишь и на годовое жалованье всего пограничного гарнизона. Билли Санчес де Авила, ее муж, сидевший за рулем в куртке из шотландки и бейсбольной шапочке, был на год моложе нее и почти так же красив, несмотря на железные челюсти застенчивого головореза. В отличие от жены он был высок ростом и атлетически сложен. Но той деталью, что позволяла без труда определить их место в обществе, был не виданный никогда раньше на этой границе для бедных отливавший платиной автомобиль, из нутра которого шел дух живого зверя. На заднем сиденье громоздились слишком новые чемоданы и не раскрытые еще коробки с подарками. Там же лежал и тенор-саксофон — самая большая страсть в жизни Нэны Даконте, до тех пор пока не была она сражена наповал злополучной любовью своего нежного бандита с пляжа.

Когда жандарм вернул им проштампованные паспорта, Билли Санчес спросил у него, где тут поблизости аптека, а то жена поранила палец, и тот прокричал ему против ветра, чтобы спросили в Андайе, с французской стороны. Но андайские таможенники, скинув мундиры, расположились за столом в своей стеклянной будке, теплой и светлой, и перекидывались в картишки, подкреплялись хлебом, который макали в кружки с вином, и поэтому, взглянув на машину и тотчас оценив ее размеры и класс, они знаками разрешили им проследовать во Францию. Билли Санчес несколько раз нажал на клаксон, но полицейские не поняли, что их зовут, и один отодвинул стекло и рявкнул, перекрывая ярость ветра:

— Merde! Allez-y, espéce de con![1]

Тогда Нэна Даконте, запахнув шубку и спрятав лицо в поднятый воротник, вышла из машины и спросила у полицейского на безупречном французском, где здесь аптека. Полицейский с набитым хлебом ртом ответил по привычке, что это не его дело, а в такую непогоду и подавно, и закрыл окошко. Но его взгляд задержался на девушке, в сверкании натуральной норки сосавшей пораненный палец, и, должно быть, в таинственной мгле он принял ее за чудесное видение, ибо в тот же миг сменил гнев на милость. Ближайший город,— объяснил он,— Биарриц, но вряд ли в самый разгар зимы и в такую собачью погоду они найдут там хоть одну открытую аптеку, разве что в Байонне, немного подальше.

— Что-нибудь серьезное? — спросил он.

— Да нет,— улыбнулась Нэна Даконте и показала ему палец, заискрившийся бриллиантами, на самом кончике которого едва виднелась ранка от розы.— Просто укололась.

Еще до Байонны снова пошел снег. Хотя было не больше семи часов, их встретили безлюдные из-за ненастья улицы и запертые дома, так что после бесплодных поисков аптеки по всему городу они решили ехать дальше. Билли Санчес такому решению обрадовался. Никогда еще не водил он машину, которая могла бы сравниться с этим подаренным к свадьбе «бентли» с откидным верхом, хотя папа, то и дело одолеваемый чувством вины и не стесненный в средствах, всегда потакал его ненасытной страсти к редким автомобилям. В таком упоении сидел он за рулем, что чем дольше ехал, тем меньшую ощущал усталость. Ему очень хотелось еще сегодня доехать до Бордо, где ждал молодых номер-люкс в отеле «Сплендид»; и не было такого встречного ветра, и не хватило бы снега на небе, чтобы остановить его. А вот Нэна Даконте чувствовала себя совершенно разбитой, особенно после езды по избитому градом последнему отрезку пути от Мадрида до границы, нависшему над кручей козьей тропой. Поэтому сразу за Байонной, обвязав потуже безымянный палец носовым платочком, чтобы остановить сочившуюся все время кровь, она крепко заснула. Билли Санчес не замечал этого почти до полуночи, когда прекратился снегопад, и ветер остановился вдруг среди сосен, а небо над ландами наполнилось льдинками звезд. Уже оставались позади уснувшие огни Бордо, где он лишь притормозил на шоссе у заправочной станции, потому что еще хватало ему духа без передышки доехать до Парижа. Без ума от своей большой игрушки за 25 тысяч фунтов стерлингов, он и не задумывался, разделяет ли его восторги солнечная девочка с намокшей от крови повязкой на безымянном пальце, спавшая рядом с ним сном молодости, впервые подернутым зыбкой тенью сомнения.

Они поженились тремя днями раньше за 10 000 километров отсюда — в Картахене-де-Индиас, к удивлению его и разочарованию ее родителей и с личного благословения архиепископа-примаса. Никто, кроме них самих, не понимал, в чем тут дело, не знал, как родилась нечаянная эта любовь. А началась она на море за три месяца до свадьбы в одно прекрасное воскресенье, когда банда Билли Санчеса штурмом взяла женские раздевалки на пляже в Марбелье. Нэне Даконте незадолго до этого исполнилось восемнадцать лет, она только что вернулась из Швейцарии, где училась в интернате Шателен в Сен-Блэзе и где научилась говорить без акцента на четырех языках и мастерски овладела тенором-саксофоном; и это было ее первое по возвращении воскресенье на море. Она сняла с себя все, чтобы надеть купальный костюм, когда вдруг в соседних кабинках поднялся переполох и раздались воинственные крики, но не поняла, что происходит, пока не разлетелась в щепы задвижка на ее двери, и не предстал перед ней самый красивый разбойник, какого только можно себе вообразить. На нем была лишь узенькая полоска плавок из поддельного леопарда, а упругое и ладное тело покрывал бронзовый моряцкий загар. Правую руку, сжатую в кулак, на который спускался металлический защитный наручник, как у римского гладиатора, обвивала железная цепь, служившая ему смертельным оружием, а на груди над испуганным сердцем трепетала в тишине на цепочке медалька-образок без лика святого. Когда-то они вместе учились в начальной школе, и много сюрпризов и конфет высыпалось им на головы из высоко подвешенных бумажных шаров, которые им удавалось прорвать на многочисленных днях рождения, куда званы бывали оба, поскольку принадлежали к тем кругам, что распоряжались судьбами города по своему усмотрению еще с колониальных времен, но так

[1] Какого черта! Кати отсюда, дубина! **(фр.).**

долго не виделись, что сразу не узнали друг друга. Нэна Даконте застыла в неподвижности, даже не пытаясь прикрыть свою пронзительную наготу.

Билли Санчес не придумал ничего другого, как садануть кулаком, обмотанным цепью, в стену кабинки, и в результате размозжил себе костяшки пальцев. Она отвезла его в больницу на своей машине, скрасила ему нудную пору выздоровления, в конце которой они вместе научились заниматься любовью как следует. Тяжкие июньские дни они до захода солнца проводили на внутренней террасе дома, в котором почили шесть поколений знатных предков семьи Нэны Даконте; она играла на саксофоне мелодии модных песен, а он, пристроив загипсованную руку, сидел на гамаке, как истукан, и, не мигая, смотрел на нее. Многочисленные цельные окна дома, самого большого и старинного и, без сомнения, самого некрасивого в квартале Ля-Манга, выходили на огромную гниющую лужу, куда приливная волна приносила отбросы бухты. Но терраса с шахматным плиточным полом, где Нэна Даконте играла на саксофоне, в послеполуденный зной была спасительным оазисом, поскольку выходила в тенистый патио с деревьями манго и высокими бананами, осенявшими могилу с безымянной надгробной плитой, которая была здесь раньше дома, раньше первого семейного воспоминания. Даже несведущим в музыке людям звук саксофона казался неуместным в этих старинных аристократических стенах. «Гудит, как пароход»,— сказала бабушка Нэны Даконте, когда услышала его в первый раз. А мама попыталась было, но безуспешно, убедить ее играть по-другому, а не так, как это делала она, для удобства высоко подобрав подол, разведя в стороны коленки и, как казалось маме, с чувственностью, излишней при игре на музыкальном инструменте. «Мне все равно, на чем ты будешь играть,— говорила она дочери,— только коленки держи, пожалуйста, вместе». Однако именно эти прощально-пароходные звуки и эта любовь без удержу помогли Нэне Даконте извлечь Билли Санчеса из его горькой скорлупы. За славой бессердечного тупицы, которой Билли Санчес де Авила наверняка был обязан и своей громкой фамилии, объединившей знатные родовые имена отца и матери, она обнаружила испуганного и нежного сироту. Так хорошо они узнали друг друга за то время, пока срасталась его сломанная кисть, что он и сам удивился, с какой легкостью все произошло в тот дождливый день, когда они остались в доме одни, и она отвела его к своей девичьей постели.

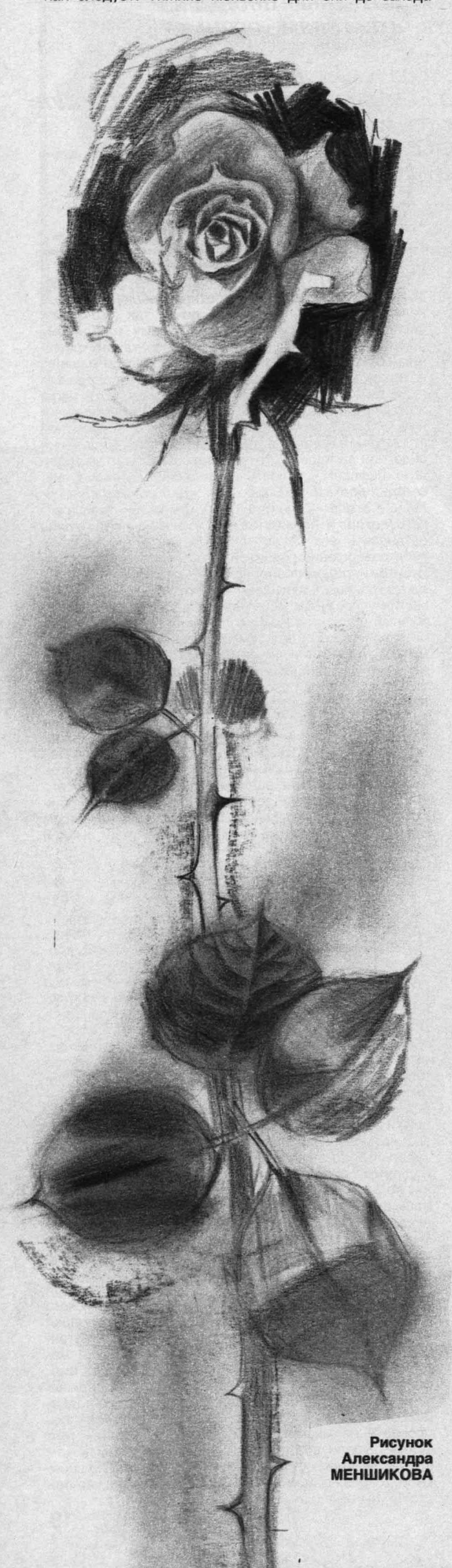


Рисунок Александра **МЕНШИКОВА**

К возвращению домой родителей Нэны Даконте они так далеко продвинулись в любви, что на свете не осталось ничего другого, и они занимались ею во всякое время и во всяком месте, каждый раз заново открывая ее для себя. Поначалу они устраивались, как могли, в спортивных автомобилях, с помощью которых папа Билли Санчеса спасался от чувства вины. Потом, когда в слишком доступных машинах им стало неинтересно, они перенесли место действий в пустующие по ночам кабинки того самого пляжа в Марбелье, где их столкнула судьба, а во время ноябрьского карнавала, спрятавшись за масками, в Гефсеманском квартале, населенном когда-то рабами, они прокрались даже в номера, положившись на сочувствие их сердобольных содержательниц, всего несколько месяцев назад вынужденных терпеть набеги цепной братии с Билли Санчесом во главе. Став мужем и женой, тогда, через двадцать четыре часа после свадьбы, только они знали, что Нэна Даконте уже два месяца была беременна.

Так что, прилетев в Мадрид, они вовсе не чувствовали себя пресытившимися любовниками, но у них хватило выдержки, чтобы выглядеть, как из-под венца. Родители обоих предусмотрели все. Едва подвезли трап, в салон первого класса поднялся служащий протокольного отдела и вручил Нэне Даконте свадебный подарок от ее родителей — белое в блестящую полосу норковое манто. А Билли Санчесу он принес куртку из дубленой овчины, как раз в ту зиму входившей в моду, и интригующие ключи без фирменного знака от нового автомобиля, ожидавшего его в аэропорту.

Дипломатическое представительство родной страны в полном составе встретило их в зале для почетных гостей. Посол и его супруга были для обоих, сколько они себя помнили, друзьями дома, но, помимо этого, посол, встречавший ее с букетом таких свежих, таких ослепительных роз, что даже капли росы казались на них ненастоящими, был еще тем врачом, который помог Нэне Даконте появиться на свет. Она потянулась к нему и к ней и чмокнула в пустоту у их лиц в знак приветственного поцелуя, смущенная своим состоянием, несколько преждевременным для новобрачной, а потом взяла букет. Принимая его, она уколола палец об острый шип, но тотчас нашлась и мило сгладила неловкость.

— Это я нарочно,— сказала она,— чтобы вы посмотрели на мое кольцо.

И все дипломатическое представительство восхитилось великолепным перстнем, прикинув про себя, что благодаря не испорченной временем старинной работе больше даже чем качеству бриллиантов, стоить он должен бешеных денег. И никто не заметил, что на пальце показалась кровь. Всеобщее внимание быстро перекинулось на новую машину. Изобретательный посол придумал доставить ее в аэропорт, а там распорядился обернуть в целлофан и завязать сверху огромным золотым бантом. Но его затею Билли Санчес не оценил. Он так жаждал увидеть наконец машину, что одним рывком сдернул с нее упаковку и обомлел. Это был «бентли»— кабриолет последней модели с обивкой из натуральной кожи. Небо нависло пепельным пологом, с Гуадаррамы дул резкий ледяной ветер, и стоять на улице было неуютно. Но Билли Санчес еще не ведал, что такое холод. Он продержал все посольство на открытой стоянке, не догадываясь, что дипломаты коченеют из вежливости, пока не обследовал в автомобиле все до мельчайших деталей. Потом посол сел рядом с ним, чтобы помочь ему доехать до официальной резиденции, где был запланирован обед. По дороге посол показывал ему примечательные места города, но он, зачарованный, видно, машиной, не отзывался.

Прежде он ни разу не покидал свой край. Не в силах перебраться в следующий класс, он проучился во всех частных и государственных школах до тех пор, пока не понесло его течением всеобщей нелюбви. Этот город, не похожий на его родной, и без моря, серые корпуса домов со светом в окнах среди бела дня, голые деревья — все, что он видел вокруг, вызывало в нем растущее чувство неприкаянности, которое он старался не допустить до сердца. Но очень скоро, сам того не заметив, он уже угодил в западню изменницы-памяти. За время, что они обедали у посла дома, над городом бесшумно пронеслась первая в эту зиму снежная буря, и, когда они вышли из резиденции, готовые к отъезду во Францию, все вокруг покрывал ослепительно белый снег. И тогда Билли Санчес забыл о машине и в присутствии всех повалился посреди улицы в своей дубленке и завертелся на месте, издавая восторженные вопли и пригоршнями бросая снег себе на лицо.

Нэна Даконте заметила, что из пальца идет кровь, уже за Мадридом часа в четыре прояснившего после пурги дня. Она удивилась, потому что, когда аккомпанировала супруге посла, любившей завершать званые обеды исполнением оперных арий, безымянный палец почти совсем ей не мешал. Позже, показывая мужу самый короткий путь к границе, она машинально сосала палец всякий раз, как выступала кровь, и только в Пиренеях ей пришла в голову мысль поискать аптеку. Потом сказалось недосыпание последних дней, и сон сморил ее, а когда вдруг проснулась от привидевшегося кошмара, будто машина идет по воде, то и думать забыла о намотанном на палец носовом платке. На светящемся на приборной панели циферблате она увидела, что шел четвертый час, подсчитала и лишь тогда поняла, что они уже проехали и Бордо, и Ангулем, и Пуатье, а сейчас переезжали Луару по залитой высокой водой плотине. В лунной дымке очертания замков за соснами казались таинственными, как в сказках о призраках. Нэна Даконте, знавшая эту местность наизусть, рассчитала, что до Парижа им оставалось всего часа три, а Билли Санчес все сидел за рулем, как ни в чем не бывало.

— Ты с ума сошел! — сказала она.— Ехать больше 11 часов подряд и даже не перекусить!

Но он, хмельной от своей новой машины, еще держался. И хотя в самолете он спал плохо и мало, сна не было ни в одном глазу, и с избытком хватало сил, чтобы к утру добраться до Парижа.

— Я наелся впрок у посла,— сказал он. И добавил без видимой логики: — И вообще в Картахене только из кино выходят. И десяти-то нет.

И все же Нэна Даконте боялась, как бы он не заснул за рулем. Она открыла одну из многочисленных коробок, подаренных им в Мадриде, и попыталась всунуть ему в рот апельсиновый цукат. Но он отвернул голову.

— Настоящие мужчины сладкого не едят,— сказал он.

Незадолго до Орлеана туман рассеялся, и большая луна осветила занесенные снегом озимые поля, но ехать стало труднее из-за скопления направлявшихся в Париж огромных грузовиков с овощами и с вином в цистернах. Нэна Даконте с удовольствием заменила бы мужа, но не решилась даже намекнуть на это, памятуя, что он объявил ей, еще в тот раз, когда впервые за нею заехал, что нет большего унижения для мужчины, чем быть пассажиром у своей жены. После хорошего пятичасового сна она чувствовала себя отдохнувшей и была очень рада, что не пришлось останавливаться в одном из провинциальных французских отелей, которые хорошо знала с тех пор, как маленькой девочкой часто приезжала сюда вместе с родителями. «Такой красоты нет нигде,— говаривала она,— но вы будете умирать от жажды, и никто не даст вам даром стакан воды». И так она уверовала в это, что в последнюю минуту сунула в дорожную сумку кусок мыла и рулон туалетной бумаги, а то во Франции в гостиницах никогда не бывало мыла, а бумагой в уборных служили газеты за прошедшую неделю, нацепленные на крючок в виде ровных квадратиков. Сожалела она в те минуты только о том, что целая ночь прошла впустую. Муж откликнулся мгновенно.

— Я как раз подумал, как обалденно это будет на снегу. Прямо здесь, хочешь?

Нэна Даконте взвесила все за и против. Снег по обе стороны дороги выглядел мягким и теплым, но чем ближе к парижским пригородам, тем напряженнее становилось движение, там и здесь светились заводские здания, и потоком катили на велосипедах рабочие. Не будь зима, давно настал бы день.

— Теперь уж лучше подождать до Парижа,— сказала Нэна Даконте.— В тепле, на чистых простынях — как женатые люди.

— Ты первый раз не хочешь,— сказал он.

— Конечно,— отпарировала она.— Ведь мы с тобой первый раз женатые люди.

Незадолго до рассвета в небольшом придорожном кафе они зашли оправиться и умыться, потом у стойки, где водители грузовиков завтракали красным вином, выпили кофе с горячими croissants [2]. В туалете Нэна Даконте заметила пятна крови на блузке и на юбке, но не стала их замывать. Она выбросила намокший платок в мусорный ящик, надела обручальное кольцо на левую руку и тщательно с мылом вымыла пораненный палец. Место укола было едва заметно. Однако, как только они снова сели в машину, кровь пошла опять, и тогда Нэна Даконте свесила руку за окно, в полной уверенности, что леденящий ветер с озимей обладает свойствами останавливать кровь. И эта мера оказалась тщетной, но она еще не встревожилась. «Захоти кто-нибудь, как легко ему будет нас найти,— сказала она с обаятельной непосредственностью.— Просто по следу моей крови на снегу». Потом задумалась над тем, что сказала, и лицо ее просияло в первых проблесках рассвета.

— Представляешь,— промолвила она,— след крови на снегу от Мадрида до Парижа! Какие красивые слова для песни, правда?

Снова подумать об этом у нее уже не было времени. Когда они въехали в пригород Парижа, кровь из пальца била фонтаном, и она отчетливо ощутила, как душа покидает ее тело через ранку. Она попыталась унять тугую струю с помощью туалетной бумаги, которую везла с собой в дорожной сумке, но, не успевая обмотать палец, бросала в окно одну за другой окровавленные бумажные ленты. Понемногу, но неотвратимо кровь пропитывала все: ее шубку, одежду, сиденье машины. Билли Санчес не на шутку испугался и готов был ринуться на поиски аптеки, но она уже понимала, что аптекарь здесь не поможет.

— Мы вот-вот будем у Орлеанских ворот,— сказала она.— Поезжай вперед и потом прямо по самой широкой улице, где много деревьев, это проспект генерала Леклерка, а дальше я тебе буду показывать.

Этот участок пути оказался самым трудным. На проспекте генерала Леклерка образовался чудовищный узел, в котором переплелись легковые автомобили и мотоциклы, устроившие затор в обоих направлениях, и огромные грузовики, пытавшиеся пробиться к центральным рынкам. Бестолковый рев клаксонов так подействовал на нервы Билли Санчесу, что он, надсаживая горло, переругался с несколькими водителями на своем цепном языке и даже порывался выскочить из машины, чтобы схватиться с одним из них, но Нэне Даконте удалось втолковать ему, что хотя французы, как никто в мире, не стесняются в выражениях, до драки у них никогда не доходит. Это было еще одно свидетельство ее предусмотрительности, поскольку в тот момент Нэна Даконте изо всех сил старалась не потерять сознания. Только для того, чтобы миновать площадь, ту, где Леон Бельфорский, им потребовалось больше часа. Кафе и магазины были освещены словно в полночь, так как шел обычный вторник обычного парижского января, унылого и грязного, и упорно сеял мелкий дождь, который не успевал превратиться в снег. На проспекте Данфер-Рошро стало посвободней, и через несколько кварталов Нэна Даконте велела мужу повернуть направо, и вскоре они остановились у входа в приемный покой громоздкой и угрюмой больницы.

Чтобы выйти из машины, ей понадобилась помощь, но спокойствие и ясность мысли не оставили ее. Пока ждали дежурного врача, она, лежа на каталке, сообщила в ответ на стандартные вопросы сестры, кто она, откуда и чем болела. Билли Санчес принес ей сумочку, сжал ее левую руку, на которой теперь было обручальное кольцо, и почувствовал, какая она холодная и слабая, и увидел, как побелели у нее губы. Она не отпускала его руку, и он так и стоял около нее до прихода дежурного врача, который сразу принялся за осмотр ранки на безымянном пальце. Это был очень молодой, но совершенно лысый человек с кожей цвета старинной меди. Нэна Даконте не обратила на него никакого внимания, а через силу улыбнулась мужу.

— Не бойся,— сказала она ему с не изменившим ей юмором.— В крайнем случае этот людоед просто отрежет мне руку и потом ее съест.

[2] булочки **(фр.)**.

Врач завершил осмотр и вдруг преподнес им сюрприз, заговорив на очень правильном испанском языке, хотя и с каким-то азиатским акцентом.

— Нет, ребята,— сказал он.— Этот людоед предпочтет умереть с голоду, нежели отрезать такую красивую руку.

Они сконфузились, но врач мягким жестом успокоил их. Затем распорядился увезти каталку, и Билли Санчес пошел было рядом за руку с женой. Врач придержал его за локоть.

— Вам нельзя,— сказал он.— Ее везут в реанимацию.

Нэна Даконте еще раз улыбнулась мужу и махала ему рукой до тех пор, пока каталка не растаяла в глубине коридора. Врач задержался, просматривая данные, записанные сестрой на карточке. Билли Санчес окликнул его.

— Доктор,— сказал он.— Она в положении.

— Сколько уже?

— Два месяца.

Врач отнесся к этому известию значительно спокойней, чем ожидал Билли Санчес. «Хорошо, что сказали»,— бросил он и ушел вслед за каталкой. Билли Санчес остался стоять в мрачном помещении, пропахшем страхами больных, не зная, что делать дальше, всматриваясь в пустой коридор, по которому увезли Нэну Даконте, а потом пошел и сел на деревянную скамью со спинкой, где сидели в ожидании еще какие-то люди. Он не знал, сколько прошло времени, но, когда вышел наконец из больницы, испытывая на себе всю тяжесть вселенной, снова было темно и так же моросило, и он все еще не знал, что делать, даже с самим собой.

Как удалось мне установить годы спустя в архиве больницы, Нэна Даконте поступила во вторник 7 января в 9.30 утра. В ту первую ночь Билли Санчес заснул в машине, стоявшей напротив входа в приемный покой, а на следующий день рано утром в кафетерии, обнаруженном им поблизости, он съел шесть вареных яиц и выпил две чашки кофе с молоком, ведь после Мадрида он так по-настоящему и не поел. Потом он вернулся в приемное отделение, чтобы повидать Нэну Даконте, но ему кое-как разъяснили, что идти надо через центральный вход. Там разыскали. слава богу. какого-то санитара-астурийца, который помог ему объясниться с портье, подтвердившим, что действительно Нэна Даконте в больнице зарегистрирована, но что посещения разрешены по вторникам с девяти до четырех. То есть через шесть дней. Он хотел увидеться с врачом, который говорил по-испански и про которого сказал, что это такой лысый негр, но по этим двум незначительным деталям никто не смог распознать того, кто был ему нужен.

Почувствовав себя спокойней оттого, что Нэна Даконте значилась в списках, он пошел обратно к машине, но там его ждал инспектор транспортной полиции, и пришлось проехать вперед и припарковаться через два квартала на очень узкой улице со стороны домов с нечетными номерами. На тротуаре напротив стояло недавно отреставрированное здание с вывеской «Отель «Николь». На вывеске была всего одна звезда, а в крохотном холле не было ничего, кроме дивана и старого пианино, зато флейтоголосый хозяин при наличии у клиента денег мог объясниться с ним на каком угодно языке. По крутой спирали лестницы, пропахшей варившейся где-то капустой, Билли Санчес втащил, запыхавшись, все одиннадцать чемоданов и девять подарочных коробок в треугольную мансардочку на 9-м этаже — последний, оставawшийся свободным номер. Мутный свет, проникавший из колодца двора сквозь единственное окошко, падал на грустные шпалеры, покрывавшие стены. Впритык стояли двуспальная кровать, большой шкаф, простой стул, переносное биде и умывальник с тазом и кувшином, так что находиться внутри можно было только, забравшись с ногами на кровать. Все тут выглядело не просто старым, но убогим, хотя и очень чистым, и несло на себе успокоительные, свежие еще следы химии.

Билли Санчесу не хватило бы жизни, чтобы разгадать загадки этого мира, воздвигнутого искусством скопидомства. Для него так и осталось тайной, почему свет на лестнице гас прежде, чем он добирался до своего этажа, и как зажечь его снова. Целое утро он потратил, чтобы уяснить наконец, что на площадке каждого этажа имелась уборная с длинной цепью, свисавшей с бачка, и, набравшись решимости воспользоваться ею в темноте, обнаружил случайно, что свет зажигался, когда изнутри задвигали задвижку, чтобы никто не оставил его включенным по забывчивости. За душ, расположенный в конце коридора, но которым он упрямо пользовался два раза в день, как у себя в тропиках, надо было платить отдельно и наличными, что не мешало горячей воде, находившейся в ведении дежурного администратора, отключаться ровно через три минуты. Однако Билли Санчесу достало здравого смысла понять, что этот непривычный порядок вещей все же лучше, чем пребывание под открытым небом в январское ненастье. Но все, вместе взятое, так выбило его из колеи и так он был одинок, что не мог взять в толк, как смог прожить столько лет без заботливой опеки Нэны Даконте. Едва закрыв за собой дверь номера в среду утром, он бросился ничком на кровать в дубленке, как был, с неотступной мыслью о небесном создании, истекавшем кровью на той стороне улицы, и очень скоро незаметно уснул, а когда внезапно



проснулся, на часах было пять, но он не мог сообразить, пять утра или вечера и какого дня недели, и что это за город, где нет ничего, кроме стекол, дребезжащих под ударами дождя и ветра. Продолжая думать о Нэне Даконте, он подождал с открытыми глазами и убедился наконец, что на дворе светало. Тогда он пошел завтракать в тот же кафетерий, что и накануне, и там смог установить, что был четверг. Дождь перестал, а из окон больницы шел свет, так что он остался стоять, прислонившись спиной к стволу каштана, напротив главного входа, впускавшего и выпускавшего врачей и сестер в белых халатах, в надежде перехватить того врача-азиата, что принимал Нэну Даконте. Он не дождался его, и днем, после обеда, тоже, и больше ждать не стал, почувствовав, что замерзает. В семь он выпил еще чашку кофе с молоком и съел два крутых яйца, которые сам взял с витрины, как делал это двое суток подряд, питаясь одним и тем же в одном и том же месте. Подойдя к гостинице с намерением подняться и лечь спать, он увидел, что все машины, кроме его собственной, стояли теперь у противоположного тротуара, а на ветровом стекле обнаружил штрафной талон. Портье отеля «Николь» стоило немало труда втолковать ему, что по нечетным дням машину нужно ставить с нечетной стороны, а в остальные дни — у тротуара напротив. Подобные ухищрения оказались явно не по зубам высокороднейшему Санчесу де Авила, тому самому, что всего два года назад заехал на парадном лимузине городского головы прямо в кино на окраине, чиня урон и смерть на глазах у невозмутимых полицейских. Еще непонятнее показался ему совет портье уплатить штраф, но оставить машину на месте, не то придется переставлять обратно в 12 часов ночи. Он лег, но не мог уснуть и ворочался на кровати с боку на бок, думая в первый раз не только о Нэне Даконте, но о своих собственных смутных ночах, проведенных на главном рынке Картахены в забегаловках. Он вспомнил вкус жареной рыбы и риса с кокосом в кабачках на пристани, у которой швартовались шхуны с Арубы. Он вспомнил свой дом, увитый бугенвиллеями, где было сейчас около семи вчерашнего вечера, и увидел своего отца в шелковой пижаме за чтением газеты на прохладной террасе. Он вспомнил о своей матери, вечно обретающейся неизвестно где, о своей пикантной и языкастой матери, с раннего вечера изнемогающей от жары в выходном костюме под бременем несравненного бюста, и с обязательной розой за ухом. Однажды, когда ему было 7 лет, он неожиданно вошел к ней в комнату днем и застал ее раздетой в постели с одним из случайных любовников. После этого казуса, о котором они ни разу не говорили, между ними установились отношения сообщничества, более выгодные, чем любовь. Однако ни это, ни все, что пережил он в одиночестве единственного сына, не доходило до его сознания вплоть до этой ночи, когда в унылой парижской мансарде он ворочался с боку на бок, и не с кем было поделиться своими невзгодами, и такое зло брало на самого себя за то, что не хватало сил совладать с желанием плакать.

Бессонница пошла ему на пользу. В пятницу он поднялся разбитый после тяжелой ночи, но полный решимости внести ясность в свою жизнь. Надо было переодеться, и он рискнул наконец взломать замки на своем чемодане — ведь все ключи остались в сумочке Нэны Даконте вместе с большей частью денег и записной книжкой, в которой отыскался бы, возможно, телефон какого-нибудь парижского знакомого. В своем кафетерии он обнаружил, что научился по-французски здороваться и заказывать бутерброды с ветчиной и кофе с молоком. И лишний раз убедился, что никогда не сможет попросить ни масла, ни яйца, потому что никогда этого не выговорит, но масло всегда подавали с хлебом, а яйца лежали в открытой витрине, и можно было брать их самому. Да и обслуживающий персонал привык к нему за три дня и всячески старался помочь ему объясниться. Так что в пятницу на обед, во время которого попытался привести мысли в порядок, он заказал телячью вырезку с жареной картошкой и бутылку вина. И почувствовал себя так хорошо, что заказал еще бутылку, выпил ее до половины и пересек улицу с твердым намерением прорваться в больницу силой. Он не знал, где искать Нэну Даконте, но в его мозгу запечатлелись черты ниспосланного свыше врача-азиата, и он не сомневался, что найдет его. Он пошел не через центральный вход, а через дверь приемного покоя, которую, как ему показалось, охраняли не так строго, но дальше коридора, где Нэна Даконте помахала ему рукой на прощание, пройти не смог. Еще у порога какой-то человек в забрызганном кровью халате, возможно, сторож, что-то спросил у него, но он не обратил на это никакого внимания. Сторож последовал за ним, повторяя по-французски один и тот же вопрос, и, потеряв наконец терпение, схватил его за рукав с такой силой, что он остановился как вкопанный. Билли Санчес попробовал было вырваться, применив один из своих цепных приемов, но тогда сторож помянул по-французски его мать, заломил ему руку за спину мастерским захватом на ключ и, беспрестанно поминая его такую и растакую маму, почти что донес его, остервеневшего от боли, до двери и вышвырнул, словно мешок картошки, на середину мостовой.

В тот день, подавленный жестоким уроком, Билли Санчес повзрослел. Он принял решение обратиться к своему послу, как наверняка поступила бы Нэна Даконте. Портье гостиницы, на первый взгляд нелюдимый, а на самом деле очень услужливый и очень терпеливый к иностранным языкам, нашел телефон и адрес посольства в телефонной книге и записал их ему на карточку. Подошла женщина, весьма любезная, и в ее ровном, лишенном блеска голосе сразу же распознал Билли Санчес андский выговор. Он начал с того, что представился полным именем, уверенно рассчитывая произвести на женщину впечатление сочетанием своих двух фамилий, но голос в трубке не дрогнул. Она заученно сообщила, что в данный момент господина посла нет, но сегодня его уже не ждут, но все равно он сможет его принять лишь по предварительной договоренности и только по сугубо важному делу. Билли Санчес понял тогда, что и по этому пути не дойдет он до Нэны Даконте, и поблагодарил за информацию с такой же учтивостью, с какой она была ему представлена. И немедля взял такси и поехал в посольство.

Оно помещалось в доме 22 по Елисейской улице, в одном из самых тихих уголков Парижа; однако поразило Билли Санчеса, как он сам рассказывал мне через много лет в Картахене-де-Индиас, только то, что солнце впервые за эти дни светило ясно, как карибское, и что Эйфелева башня высилась над городом в ослепительно чистом небе. Чиновник, что принял его вместо посла, походил на человека, едва оправившегося от смертельного недуга, и не только по причине черного фланелевого костюма, тугого воротничка и траурного галстука, но и скованностью движений и умильной покорностью в голосе. Тревога Билли Санчеса была ему, конечно, понятна, но он напомнил, не утратив кротости, что они в цивилизованной стране и что принятые в ней строгие правила восходят к древнейшим и мудрейшим принципам, не то что в диких странах Америки, где, подкупив швейцара, войдешь в любую больницу. «Вот так, дорогой юноша,— сказал он.— Придется подчиниться власти разума и потерпеть до вторника, другого выхода нет».

— Осталось всего четыре дня, о чем тут толковать! — заключил он.— А пока сходите в Лувр, не пожалеете.

В полной растерянности Билли Санчес добрел до площади Согласия. Над крышами он увидел Эйфелеву башню, и так близко, что решил дойти до нее по набережной. Но очень скоро он обнаружил, что она дальше, чем казалось, да к тому же поминутно меняет место. Поэтому он уселся на скамейку на берегу Сены и стал думать о Нэне Даконте. Он видел, как проходили под мостом буксиры, тянущие за собой баржи с бельем на проволоке, и ему представилось, что это не корабли, а блуждающие дома, крытые красными крышами и с цветами на подоконниках. Долго он наблюдал за неподвижным рыбаком с неподвижным удилищем и неподвижной на воде леской и устал ждать, чтобы хоть что-нибудь шевельнулось, а тут начало темнеть, и он решил взять такси и вернуться в отель. И только тогда спохватился, что не знает ни его названия, ни адреса и понятия не имеет, в каком конце Парижа находится больница.

В панике он влетел в первое попавшееся кафе, попросил один коньяк и попытался сосредоточиться. Из раздумья его вывело собственное отражение, многократно и в разных ракурсах повторенное в бесчисленных зеркалах на стенах. Он увидел себя испуганным и одиноким и впервые, с тех пор как родился, подумал о том, что смерть есть. Но после второй рюмки он почувствовал себя лучше, и его осенила спасительная мысль возвратиться в посольство. Не вспомнив, как называется улица, он полез в карман за карточкой и неожиданно прочитал на лицевой стороне название и адрес гостиницы. Это происшествие так на него подействовало, что в оставшиеся дни он покидал номер только для того, чтобы поесть и переставить машину к надлежащему тротуару. Трое суток без перерыва так же моросил грязный дождь, как и в то утро, когда они приехали в Париж. Валяясь на кровати, Билли Санчес, не прочитавший ни одной книги до конца, почитал бы сейчас от нечего делать, но в чемоданах жены не нашлось ничего на испанском, а все на каких-то других языках. И потому он ждал вторника, созерцая ровные ряды павлинов на обоях и целиком отдавшись мыслям о Нэне Даконте. В понедельник он представил себе, что скажет она, если застанет такой кавардак, и взялся за уборку и только тогда заметил пятна высохшей крови на норковой шубке. До вечера он отмывал ее душистым мылом, найденным в дорожной сумке, и в результате вернул ей тот же вид, в каком была она доставлена в Мадриде на борт самолета.

Вторник занимался хмурый и холодный, но без дождя, и Билли Санчес, вскочив в 6 часов, встал у дверей больницы в толпе родственников, обремененных свертками и букетами цветов. Он протиснулся со всеми вместе, с норковой шубой на руке, не имея представления, где могла находиться Нэна Даконте, но твердо уповая на то, что встретит доктора-азиата. Он вышел в просторный крытый внутренний двор с живыми цветами и певчими птицами, с двух сторон которого тянулись флигеля с мужским и женским отделениями: по левую руку — женщины, по правую — мужчины. Следуя за посетителями, он вошел в женское отделение. Перед ним в ясном свете дня длинной чередой сидели на койках женщины в больничных рубахах, и он подумал даже, что вовсе не так здесь мрачно, как представлялось снаружи. Он пошел по проходу до самого конца, потом в обратном направлении и убедился, что ни одна из женщин не была Нэной Даконте. Потом, перебравшись на другую сторону, он медленно шел по внешней галерее, заглядывая в окна мужского отделения, пока ему не показалось, что он увидел врача, которого искал.

Это действительно был он. Вместе с другими врачами и несколькими сестрами он осматривал какого-то больного. Билли Санчес вошел внутрь, отстранил одну из сестер и стал напротив врача-азиата, склонившегося над больным. И окликнул его. Врач поднял свои скорбные глаза и, на миг задумавшись, вспомнил его.

— Господи,— произнес он,— где вас черти носят?

Билли Санчес растерялся.

— В гостинице,— сказал он.— Здесь, за углом.

И тогда он узнал. Все усилия лучших специалистов Франции, не прекращавшиеся ни на минуту в течение семидесяти часов, оказались безуспешными — Нэна Даконте умерла от потери крови в четверг девятого января в 7.10 вечера. До последнего мгновения она была в сознании и спокойна, и дала указания, чтобы отыскали мужа в отеле «Плаза Атене», где у них заказан номер, и дала координаты родителей, чтобы им сообщили. Посольство было поставлено в известность срочной депешей из своего МИДа в пятницу, когда родители Нэны Даконте уже летели в Париж. Посол лично взял на себя хлопоты по бальзамированию и устройству траурной церемонии, и сам регулярно справлялся в префектуре полиции города, не нашелся ли Билли Санчес. Экстренное сообщение о его розыске передавали по радио и телевидению с позднего вечера пятницы до середины воскресенья, и в течение этих сорока часов он был человеком, которого искала вся Франция. По всему Парижу висела его фотография, найденная в сумочке Нэны Даконте. Были обнаружены три «бентли» — кабриолета той же модели, но все — не его.

Родители Нэны Даконте прилетели в субботу в полдень и провели остаток дня и ночь у гроба дочери в больничной часовне, до последней минуты надеясь, что Билли Санчес найдется. Его родители, тоже оповещенные о случившемся, совсем было собрались лететь в Париж, но в конце концов остались из-за путаницы с телеграммами. Панихида состоялась в воскресенье в два часа дня, всего в двухстах метрах от отеля, где Билли Санчес в своем зловещем номере умирал от одиночества без любви Нэны Даконте. Чиновник, принимавший его в посольстве, рассказал мне много лет спустя, что сам получил ту телеграмму из МИДа ровно через час после разговора с Билли Санчесом и что бросился его искать по всем укромным барам соседней Фобур де Сент-Оноре. Он признался мне, что отнесся к нему тогда без особого внимания, поскольку и подумать не мог, что у этого провинциала в видавшей виды дубленке, с непривычки очумевшего от Парижа, такая знатная родословная. Вечером того же воскресенья, в то время как Билли Санчес едва сдерживал слезы ярости, родители Нэны Даконте отказались от дальнейших поисков и увезли забальзамированное тело покойной в цинковом гробу, и те, кто успел увидеть ее, повторяли долгие годы, что женщины такой красоты им не приходилось видеть ни живой, ни мертвой. Так что во вторник утром, когда Билли Санчес вошел наконец в больницу, ее похоронили уже в печальном склепе на кладбище Ля-Манги, в двух шагах от дома, где прозвучали для них первые позывные счастья. Врач-азиат, сообщивший Билли Санчесу все о трагедии, хотел дать ему успокоительные таблетки, но тот не взял. Благодарить ему было не за что, и он ушел не попрощавшись, с единственным и острым желанием вышибить цепью к чертовой матери чью-нибудь душу, чтобы свести счеты с судьбой. Выйдя из больницы, он не заметил даже, что с неба падал снег без единого следа крови, а чистые и нежные хлопья напоминали голубиные перышки, и что на улицах Парижа повеяло праздником, ибо за последние десять лет был это первый настоящий снегопад.

Перевела с испанского Галина ДУБРОВСКАЯ

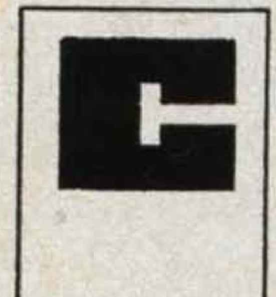
Печатается с сокращениями.

ПРОШУ СЛОВА!

«ЕСЛИ БЫ В КАРМАНЕ БЫЛО ХОТЬ 30 РУБЛЕЙ...»

ОРЕНБУРГСКАЯ СТЕПЬ, РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА, А В ГЛУБИНКЕ — ГОРОДОК. СОРОЧИНСК — ПОЧТИ ЧТО ТЕЗКА ГОГОЛЕВСКИХ СОРОЧИНЕЦ С ИХ ЗНАМЕНИТОЙ ЯРМАРКОЙ. НО РЕЧЬ ПОЙДЕТ НЕ О ЯРМАРКЕ, А О МАГАЗИНАХ, ОЧЕРЕДЯХ И ЦЕНАХ.

Петр НОВОХАТСКИЙ



С некоторых пор призрак повышения розничных цен на продукты питания нервирует обитателей крупнейших городов, оставляя сорочинцев вполне равнодушными. Чего им нервничать! За вареную колбасу они и так платят шесть рублей с полтиной за килограмм, за килограмм утки — пять рублей, фарша — шесть, масла — семь рублей. Цены кооперативные, и других нет. И очередей нет. Подойдет покупатель, помнется, отдаст червонец за утку, и опять ни души по нашу сторону прилавка. Очереди бывают только за свиными ребрами и колбасой из субпродуктов. Колбасу и ребра здесь изредка выдают в качестве льготных пайков ветеранам войны. Ажиотаж вокруг не столь лакомых продуктов объясняется тем, что они исчерпывают мыслимый ассортимент, который можно выложить на прилавок с приложением нормальных ценников.

В общем, в Сорочинске мяса и колбасных изделий в магазинах нет, но зато есть собственный мясокомбинат. И жители городка наслышаны о его гастрономических достижениях. Но сорочинцы хотели бы знать, куда идет их продукция и нельзя ли хоть что-то оставлять для себя. Поговорил с компетентными людьми и отвечаю: продукцию отгружают в дальние города за Урал... А для себя оставить ни центнера нельзя, ибо нет у горсовета таких фондов. «Нет фондов» — это значит, что дефицитные продукты — мясо и мясные изделия в их числе — распределяются «сверху» по спецреестру, в который Сорочинск не попал. Почему? Потому, что городок этот в ранге райцентра и приравнен к сельской местности, где вроде бы каждый двор держит или может держать личный скот. Ну, если так, то мясная проблема теряет остроту.

В действительности же острота никуда не теряется. Абсолютное большинство здешних горожан не имеет и не может иметь приусадебное хозяйство. Есть причины объективные — жизнь протекает в обычных пятиэтажках, и во дворах — ни сараюшки; затем — отсутствие кормов и наличие служебных обязанностей, работы. Есть и более субъективные причины: потеря навыков по уходу за скотиной. Многие «освободились» от коровы в годы негативного к ней, корове, отношения со стороны отцов городка. Лет тридцать — двадцать назад здесь было пятитысячное стадо. Сейчас — 160 единиц крупного рогатого скота. Несмотря на твердый курс поощрения личных хозяйств, рискну предположить, что качественного скачка в мясообеспечении не предвидится: жизнь в Сорочинске урбанизируется. Горожане самоограничили любовь к земле дачными участками. Держать скот практически в городских условиях — дело не только хлопотное, но и дорогостоящее, а значит, и не очень прибыльное. Короче, отнесение Сорочинска к сельской местности есть решение умозрительное.

Бесспорно и то, что включение городка в «фондовые» реестры в целом проблемы не снимет: главное, мяса в стране от такой манипуляции не прибавится. Кстати, жители областного Оренбурга, которые, естественно, снабжаются по более высокой категории, последние годы могут купить двухрублевое мясо, лишь попав в столицу. Фондов Оренбургу хватает лишь для минимального удовлетворения системы общественного питания. Вот я и подошел к очевидной мысли, что порочной стала сама практика фондирования. Об этом же говорят не первый год и экономисты. Последовательно проводимая, такая практика есть не что иное, как продразверстка. Сорочинцы не ленивы, и спущенные планы по сдаче сельхозпродукции государству район обычно выполняет. Их зерно, молоко, мясо идут в общий котел страны. А затем и эта капля в мясо-молочном море разверствывается по не совсем ясным принципам: одно дело — столичные универсамы, другое — свиные ребра, как предел вожделения рядового жителя райгородка.

Но вот грянула реформа, и теперь хозяйствам дают право свободно распоряжаться частью продукции. В идеале видится: излишки зерна идут на прилавок рынков, на фураж, растет поголовье скота на подворье степного горожанина, магазины затовариваются мясом, молоком, маслом... Хозяйство в естественной борьбе за рынок сбыта удешевляет, совершенствует производство. Дефицит исчезает!

Так в идеале, повторю. А в жизни? В районных сводках по-прежнему цифры перевыполненных государственных заданий. К июлю минувшего года, например, 41 тонну мяса, казалось бы, по новому праву, своего, сверхпланового, сорочинцы... сдали государству. Почему? Оставили бы ветеранам! Неловко смотреть, как они за «мокрой» колбасой выстаивают часами, как прижимают к груди, словно гусляры, пластину ребер — «балалайку», по-местному.

— Мы бы и рады,— ответили в райисполкоме,— да вот...

И следует кивок вверх.

Там, вверху, подразумевается председатель Оренбургского агропрома Александр Григорьевич Зелепухин. Странно, но он ни в чем не походит на упивающегося властью администратора. Александр Григорьевич цели агропрома формулирует так: во-первых, превратить вверенные ему подразделения в консультативные органы, во-вторых, сократить до оптимума штат управленцев (примерно на две трети). Что же касается права хозяйств распоряжаться частью продукции, то Александр Григорьевич — сторонник «жесткой линии». Аргументы таковы: на асфальте мясо не растет, и в больших городах области его не хватает. Так что сорочинские излишки необходимо изымать! И — перераспределять. Перераспределять и властвовать, то есть снова и снова спускать планы, задания, фонды...

Ничуть не сомневаюсь в том, что Александр Григорьевич хочет справедливости. Причем одинаковой для всех. Но как такого качества «равенство» соотносится с законами экономики? Сейчас принцип распределения сверху просто вреден, поскольку низводит полноценных, мыслящих людей до уровня безликой рабочей массы — рабсилы. Ваше дело, ребята, работать! А уж как распорядиться вашим трудом и плодами вашего труда, что и по какой цене продавать в магазинах — забота наша! Систематическое и полное отчуждение продуктов труда от их производителей привело к тому, что люди «расхотели» работать. Призывы с трибун «стать хозяином» приобрели ритуальный оттенок. Но... Хозяин тот, кто сам распоряжается и собой, и своими потенциями, и результатом труда, так сказать, плодами усилий. Разговаривая со многими сорочинцами, я убедился, что многие из этих многих до сих пор живут иллюзией, будто бы некие маги наводнят магазины мясо-молочными продуктами. А ведь этого не будет. В действительности же Продовольственная программа — это не филантропическая кампания, а шанс, который должны использовать сами сорочинцы! Сами. И этот шанс они уже используют. Да еще как!

Когда видишь в неизбалованном архитектурной мыслью Сорочинске изящную, из красного кирпича мельницу с декоративными крыльями, ожидаешь, что это стилизованный под старину потребсоюзовский ресторан, ну нечто вроде «У старого мельника»... Старым мельником, однако, оказался директор комбината хлебопродуктов Николай Павлович Сердюков. Мельница — обычный производственный цех.

В детали всегда есть намек на целое, а мельница в Сорочинске, по-моему, намекала на то, что руководство комбината никак не ограничивает свои функции борьбой за план. Однажды, например, Николай Павлович подумал о вещах, во многом забытых. О культуре и красоте работы, например! Ассоциация с рестораном тоже получила своеобразное подтверждение: в стенах мельницы открыли столовую. В здешней столовой, оказывается, стараются пообедать не только свои, но и приезжие, и проезжие. Поскольку достаточно плотный обед за 30 копеек по нынешним временам соблазнителен.

Откуда свининка? Вестимо, из подсобного хозяйства. Килограмм обходится по рублю семьдесят копеек.

— До назначения я шестнадцать лет работал директором совхоза,— сказал Николай Павлович Сердюков.— Выявил закономерности местных летних дождей, само собой, изучил приемы агротехники и зоотехнии. Но время было такое, что навыки свои и знания на практике не мог применять. На любой счет имелись указания! И вот только здесь, при хлебозаводе, решился выращивать свиней. Арендовали мы самые простенькие и дешевые помещения, закупили две тысячи поросят.

— Почему же у вас довольно низкая себестоимость?

— Руководители хозяйств, знаю это по собственному опыту, задерганы второстепенными вопросами. На прямое дело не остается ни сил, ни времени. Скажите, свинье что нужно? Свинье нужно, чтобы ее кормили. Во-первых, досыта. А во-вторых, регулярно. Мы это и делаем.

Итак, свиноферма хлебокомбината процветает из-за невмешательства извне. Хозяева сами решают, как им хозяйствовать. Они свободны в главном — в выборе технологии, которая у них лучше получается. Колхозы же и совхозы делают все понемногу, а главное — тужатся выполнить плохо обоснованные планы по мясу, молоку, яйцам, шерсти. Но никакого «среднего» хозяйства не может быть! Кто-то где-то мастерски выращивает свиней, а кто-то даже в условиях рискованного земледелия собирает стабильные урожаи пшеницы или кормовых культур. Речь идет скорее не о специализации, а о свободе специализации! О выборе технологий — по способностям производителя, а не по потребностям планирующих органов. И «дочерняя фирма» принесла двадцать тысяч рублей прибыли.

Но вернемся к аргументу Александра Григорьевича: «Самообеспечивающееся хозяйство не захочет хорошо работать и производить излишки». Будет ли оно «надрываться», если первая степень сытости достигнута? Да и неусеченная свобода предполагает выбирать дело поменьше. Но скептики не знают или забыли, что при тренировке силы растут и аппетит приходит во время еды... Мало уже Николаю Павловичу тех трехсот тридцати гектаров земли, что отрезали подсобному хозяйству для производства собственных кормов. Мало. Комбинату под силу обрабатывать в пять раз больше, утверждает директор. Тем более что все равно во время зеленой и хлебной страды приходится помогать соседним колхозам. Трактористами и комбайнерами. Соседи без городских шефов не в состоянии обработать все свои поля. А будь эта земля у комбината...

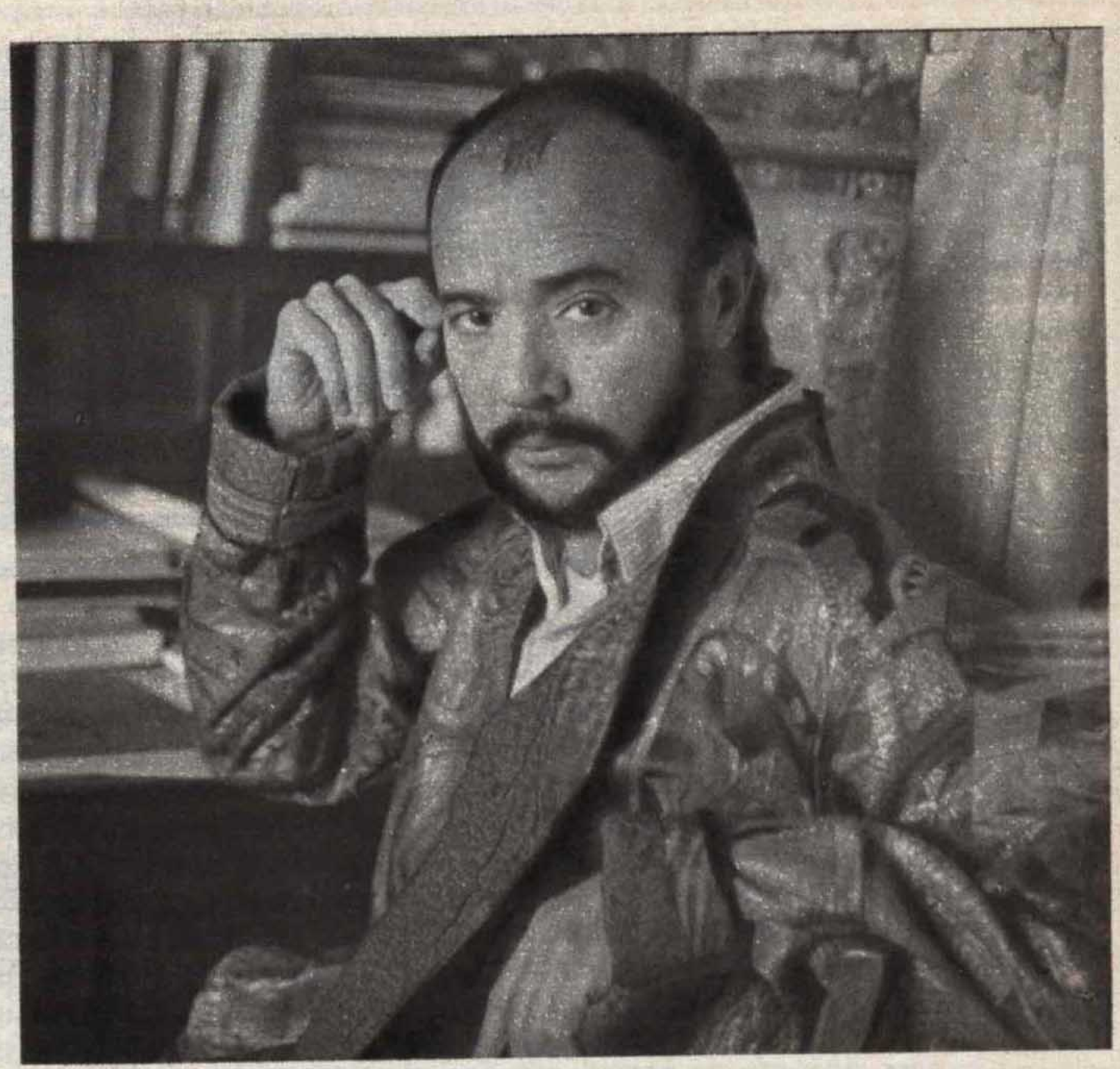
Не хочу и во сне видеть, что «свиноцех» хлебокомбината попал в руки агропрома. Исчезнет колбаса в собственном магазине (нет фондов), сами собой пропадут тридцатикопеечные обеды «на мельнице». Вместо них появятся деньги, на которые большинство рабочих ничего не сможет купить. А главное, спустят «научно обоснованный» план от достигнутого! И вдруг однажды корма не уродятся... Но Сердюков не сможет уменьшить поголовье свиней! План отныне для него будет законом.

Дурные картины рисует стереотипное мое воображение.

Пока же... есть и недостаток у фермы хлебокомбината — заведение сие ведомственное. И распространяются его плюсы только на «своих», исключая тех проныр, что кормятся «У старого мельника» по случаю. Но, как я понял, свое мясо-овощное дело имеет способность вырасти из ведомственных штанишек.

Это подтверждает и директор местного автотранспортного предприятия Г. И. Пеннер. Он тоже вошел во вкус агродеятельности. Теплица АТП дала уже первую прибыль. В доверительном разговоре со мной директор высказал желание поучиться у соседа Николая Павловича мясному промыслу. А дальняя мысль — при возможности с ним скооперироваться!..

Думаю, при благоприятных условиях в Сорочинске может сложиться система новых кооперативных связей, так непохожая на нынешний райпотребсоюз. Новый союз подлинных кооператоров способен будет накормить сорочинцев досыта. Главное, по умеренным ценам. Без фондов и магии! И тогда хилый ныне сорочинский рынок потребует для своего описания нового Гоголя. У него, кстати, автор позаимствовал заголовок — это вольный перевод эпиграфа к одной из главок «Сорочинской ярмарки»: «Господи, боже мой, чего только нет на той ярмарке!.. Так что если бы в кармане было хоть 30 рублей, то и тогда бы не закупил всей ярмарки!»


Фото Льва МЕЛИХОВА

ИСПОВЕДЬ ХУДОЖНИКА

Шариф ШУКУРОВ

Творчество любого мастера, будь он художником или поэтом, невольно отражает особенности времени и не всегда заметные черты его скрытого, внутреннего мира. Попытаться ощутить в живописных построениях художника Мир в его нерасчлененной целостности и, в свою очередь, увидеть в них же внутренний мир художника — задача поистине благодарная и увлекательная. От нас же, зрителей, требуются только некоторое терпение и внимательность для того, чтобы увидеть нечто, не до конца выговоренное художником...

Я застал Шавката Абдусаламова перед его отъездом на съемки нового фильма по сценарию Чингиза Айтматова. Итак, предварим наш разговор о творчестве художника коротким рассказом его о детстве и первых наставниках:

— Я родился в Ташкенте. Отец был репрессирован в тридцать седьмом, в декабре. Нас было три брата. Мать вышла замуж, и мы оказались в детдомах. Мне сегодня больно об этом вспоминать. Десять лет по детдомам. Они были в разных городах и почти все скверные. В промежутках я был в бегах: поезда, полустанки, ночевки где придется, драки... Рассказывать мне хочется не столько о себе, сколько о людях, повлиявших на мою судьбу.

Первыми и, наверное, главными моими наставниками были Милания Ивановна Ткаченко и Азик Аронович Гольдрей.

Милания Ивановна, ученица Петрова-Водкина, была репрессирована, после отбытия десятилетнего срока без права возвращения в Москву стала жить в Коканде Ферганской области. Начала свою «миссию» — за тарелку супа в детдоме № 1. Там мы и встретились в 1947 году.

Милания — я звал ее так и не иначе — не упускала меня из виду до той поры, пока я не принял твердого решения быть художником. Бедная, каких усилий ей это стоило! Внешне она походила на чеховских дам. В пыльном, далеком, безасфальтовом Коканде тех лет она носила шляпку с бумажными цветками, произносила такие слова, как «ноктюрн»; для полубеспризорника видеть и слышать подобное было более чем странно. Чтобы заложить в печь уголь, Милания нацепляла на руку большую, специально для этого предназначенную старую перчатку. С непонятной для меня вспыльчивостью я отпихивал ее от печи, хватал без всякой там перчатки комки угля и заталкивал их в черную дыру. Мне казалось, что таким образом я приваживаю ее к здравой жизни, даже не подозревая, что за ее хрупкими плечами был сибирский лесоповал. Теперь мне кажется, что и выжила-то она как раз изза того, что меня, по недомыслию, тогда в ней раздражало,— необыкновенный взгляд на жизнь. Он всегда был у нее несколько выше уровня ее существования. Много позже ей выделили пенсию, жилье. Умерла она в 1971 году в уже заасфальтированном Коканде...

В 1954 году Шавкат Абдусаламов, окончив вечернюю школу, поступает в Ташкентское художественное училище, где его наставником был Азик Аронович Гольдрей. Удивительный человек и педагог, он был необыкновенно требователен, однако требовательность его была избирательна. Он ею как бы одаривал.

— Странно, но он, как и Милания,— рассказывает Шавкат,— был до печали совершенно одинок. Жил в кибитке, снимая ее за гроши. Спал на солдатской кровати, укрывшись матрацем. Мне и в голову не приходило, что за преподавание в училище платили так мало. Накануне моей защиты диплома мы были с ним в Ленинграде, где у него во время блокады погибла семья. Об этом он никогда не вспоминал. Его общение с великими в Эрмитаже было на уровне самого сокровенного молчания. Я запомнил его таким...

Милания и Гольдрей не сжигали за собой мосты, напротив, возводили их. Полагаю, это и есть то, что мы называем силой духа.

После окончания училища Шавкат поступает во ВГИК. В годы учебы он был замкнут, нелюдим в новой и непростой для него обстановке столичной жизни. Сейчас только сам художник знает о том, чего ему стоила адаптация в среде новых для него вкусов к социальному, интеллектуальному и внешнему облику человека. Но вместе с тем обстановка начала шестидесятых годов была питательна для молодого и очень внимательного провинциала, она столкнула его с разными людьми, различными взглядами на искусство. В числе людей, поддержавших молодого провинциала после окончания ВГИКа, была Лариса Шепитько. Именно она сумела утвердить Шавката в правоте своего выбора.

Прошло, изменилось время. Изменился и Шавкат. Не нам судить, как отразилось его детство на сегодняшней жизни художника. Но то, чего недоставало ему в годы скитаний, он с избытком компенсирует своими привязанностями в настоящем. Художник небезразличен к быту, его эстетические пристрастия ясно читаются и в чайной церемонии с маленькими китайскими чашечками, и в его искусстве, многогранном и впечатляющем своей изысканностью. Шавкат Абдусаламов стал ведущим художником кино нашей страны. Он работал с Б. Кимьягаровым над сериалом по «Шах-наме» Фирдоуси, с Андреем Тарковским над «Сталкером», с Элемом Климовым над «Агонией», с Али Хамраевым над «Триптихом» («Гран-при» в Сан-Ремо) и «Телохранителем». Сейчас художник занят в картине Бако Садыкова, прославившегося короткометражным фильмом «Адонис 14». Многим кино- и телезрителям Шавкат знаком и как актер, запоминающийся, яркий. Я уверен, что наступит время, когда читатели увидят прозу Шавката Абдусаламова. Необычную, щемящую.

Что же изменилось в Шавкате Абдусаламове с тех детских и юношеских лет, когда он получал уроки жизни и мастерства у своих первых наставников, и что художник сумел сохранить и пронести через всю жизнь? Ответить на этот вопрос нам помогут его картины.

Рассказывать о них можно почти бесконечно, они располагают к этому своим притчевым характером. В прошлом именно притчи служили наставникам своеобразным инструментом для поучения. В одной и той же притче поэтапно раскрывались самые разные аспекты бытия и высокой морали, хотя речь могла вестись о вещах обычных. Значение притчи не в ее сюжете, а в том ассоциативном ряде смыслов, которые она призвана раскрыть. Притча открыта всем. В створки ее легко открывающихся дверец волен заглянуть каждый, кто-то может приоткрыть их, а кто-то и смело шагнуть в знакомый и близкий мир вещей и понятий. Увидев картины Шавката, вы скажете: это Восток. Другой же, взглянув на те же картины с иных позиций, возразит: нет, они и о Западе.

Одни увидят в его персонажах, их странном облачении мир детства художника, его прошлое; другие же оспорят первых — персонажи художника все, как один, улыбчивы, добры и мудры, художник думает о своем будущем. Смысл хорошей притчи в том, что никто до конца не может исчерпать ее, в ней всегда присутствует некоторый запас прочности, молчаливость, к которой может приобщиться странник, пустившийся по терниям нелегкого пути постижения смысла рассказа. Кстати, сам художник называет своих персонажей странниками. В этом нет ничего удивительного. В масштабной притче картин художника мы увидим пыльные дороги Средней Азии, средокрестии бывшего Шелкового Пути, скрепляющего таинственный мир дальних восточных стран с христианским миром Византии.

Наставники Шавката тоже были странниками, судьба исковеркала их жизнь, но не принизила, не озлобила, дала им возможность на своем пути заметить и начать огранку поднятого с дороги кристалла. Делали они это не для себя, каждодневным трудом своим оттачивая талант мальчика, не думая о воздаянии.

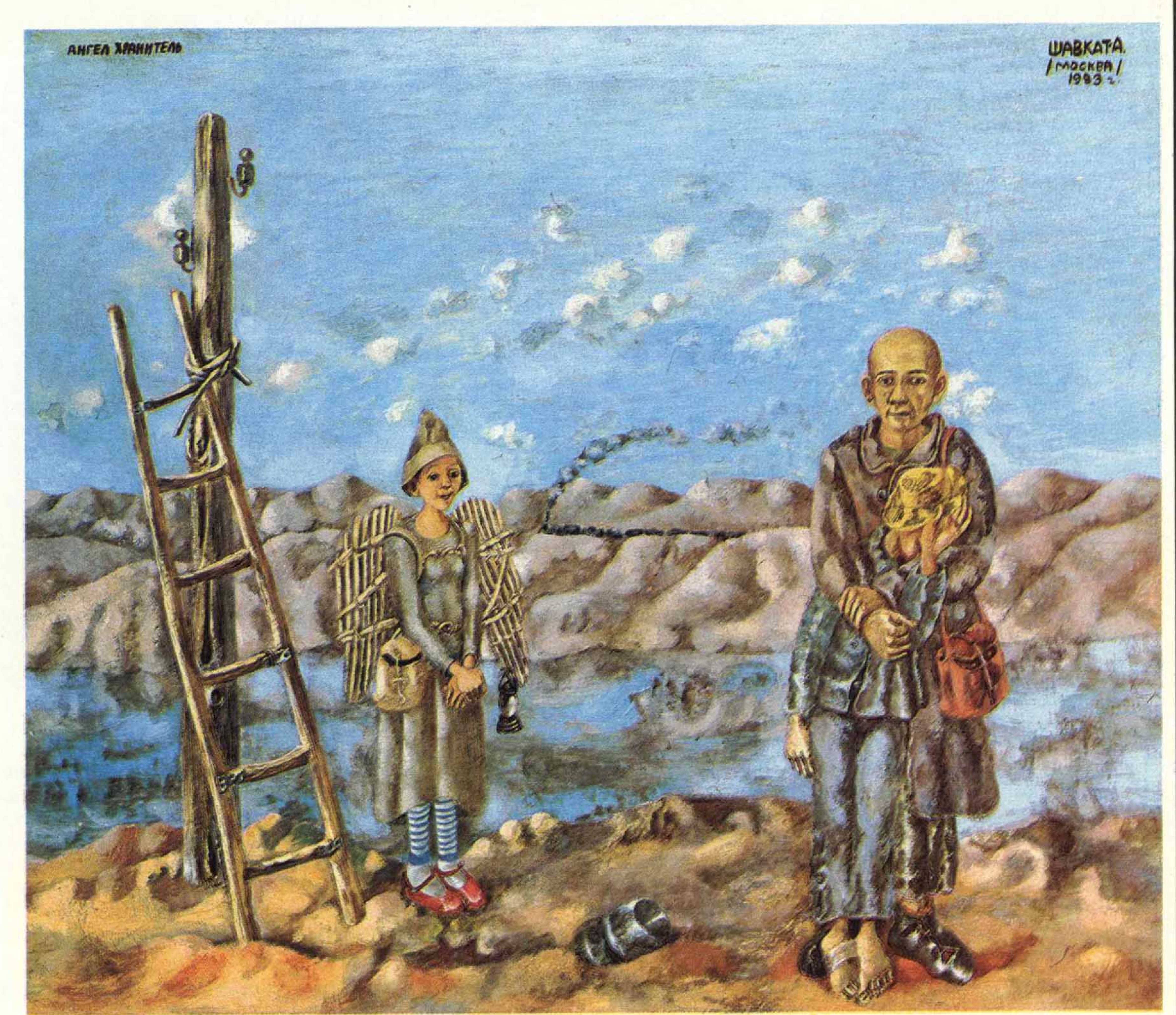
Восстанавливая мир своего детства, художник уходит от прямых соответствий с бытовой реальностью. Быт, окружающая нас действительность присутствуют в работах художника, но все жизненные реалии переосмыслены им, они подаются в несколько усложненной, философской манере. Сказались долгие годы учебы, годы упорного чтения, желание наверстать упущенное в детстве, многие часы, те же годы раздумий. В персонажах Шавката нельзя угадать ни «тебя», ни «меня», но только всех нас, ибо рассказ художника — обо всех.

Своеобразны персонажи картин Шавката. Все они молчат, умиротворенно взирая на зрителя, чуть улыбаясь и освещая окружающее пространство светом широко раскрытых глаз. Те, кто бывал на Востоке, могли заметить, что сидящие в чайных старики чаще всего молчат. Молчат не потому, что им нечего сказать друг другу. Просто ими владеет иной стиль общения, иные горизонты диалога между собой. Рассказывают, что на Востоке истинные воины соревнуются в своем искусстве молча, глядя друг другу в глаза и сжимая рукоять не извлеченного из ножен меча. Так может продолжаться довольно долго, пока один из соперников не признает победу другого. Многие важные для человека вещи познаются в молчании. Молчание значимо. Значимо оно для художника, для его персонажей.

В этом сила, но в этом же и уязвимость картин Шавката. Ведь зрителем может оказаться черствый, циничный, но образованный человек, которому размышления Шавката могут показаться чрезмерным мудрствованием, бездумной и пустой игрой. Как-то в разговоре Шавкат заметил: «Я бы очень хотел, чтобы мои прошлые друзья — беспризорники однажды увидели репродукции моих картин, узнали бы себя и, вырезав одну из них, повесили у себя дома». Желание художника сбылось. Воспроизведение одной картины художника попало в руки такому человеку. Несколько лет картина согревала ему душу, а потом он приехал в Москву, нашел художника в его доме, среди его картин, и плакал...

Нет никакого смысла рассказывать о смысловых границах творчества Шавката, сужать или раздвигать их. Очевидно одно: перед нами незаурядный по мастерству и таланту художник, познакомиться с которым должна самая широкая аудитория. Важно еще помнить, что Шавкат представляет своим творчеством весьма интересный пласт в советской художественной культуре. Нам всем знакомы имена Чингиза Айтматова, Булата Окуджавы, Фазиля

Ш. Ф. АБДУСАЛАМОВ. Род. 1936.
ПЕРВЫЙ СНЕГ. 1985.



АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ. 1983.

Искандера, Чингиза Гусейнова, Олжаса Сулейменова, Тимура Зульфикарова, Тимура Пулатова, Анатолия Кима. Все они не русские по происхождению писатели и поэты. Но пишут, выражают себя, вступают в диалог с читателем на русском языке. Так же, как и Шавкат, они «странники», бредущие по трудному пути между двумя культурами — исконной, национальной, и обретенной, русской. У большинства из них ясно проглядывает мотив посредничества между двумя культурами, их взаимообогащения. Явление существует, полнокровно дышит, ждет своих исследователей и более пространного рассказа о себе. И последнее, о чем писать сегодня необходимо. Живопись Шавката гораздо больше известна за рубежом, чем у нас в стране. К художнику ходят прослышавшие о нем иностранные гости — писатели, режиссеры, художники, журналисты. Предлагают за картины большие цены, сулят славу. Но художник считает, что его работы должны храниться у него дома — в его стране. А хранить их негде: парадоксально, но Шавкат до сих пор не имеет своей мастерской. Он не умеет «пробивать», требовать, старается сам успокаивать себя. Характер уже состоялся: прожито полвека...



Ш. Ф. АБДУСАЛАМОВ. ЗИМУЮЩИЙ УДОД. 1983.



КОРОЛЕВСТВО РЕЗО

Окончание.
Начало на 1-й вкладке.

мир живет в Габриадзе и обретает зримые очертания под его пером. Резо может с легкостью взять сюжет Зощенко, Пиранделло, Клода Тилье и непринужденно привести его в соответствие со своим миром, населить его своими персонажами, переместить в свою Грузию (безусловно, Грузию, созданную им, но которую воспринимаешь, кажется, более подлинной, нежели та, что есть на самом деле), и сплав получится настолько естественным и органичным, что сразу начинаешь понимать: все это может быть только так и не иначе.

Габриадзе щедро рассыпал из сценария в сценарий алмазы своей фантазии, и они, зависимые от создателя-режиссера, то начинали сверкать чистыми крупными бриллиантами, то оборачивались тусклыми сколками... А ему оставалось лишь взирать на это, радуясь или грустя. Но бывало и так, что режиссер совсем еще ничего не понимал, а редактура уже начинала требовать такое, что за голову хотелось схватиться от ужаса. Или вдруг актеры произносили реплики так, что собственный текст начинал казаться лживым и пошлым. И наступало отчаяние. Потому что мир, не будучи сотворенным, рушился. И тогда он начинал рисовать его, на бумаге оживали человечки и сценки, и это отчасти восполняло утраты. Потому что главной потребностью и необходимостью было этот мир собрать. И со временем это ощущалось все сильнее. И наконец-то и был создан остров, утверждены права на него (да-да, Министерством культуры Грузии), и взмыл над этим островом флаг: «Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе».

Здесь-то уж он мог привести все в полное соответствие с собой, свой мир сконструировать. Сам мог написать, поставить, слепить, нарисовать. Мог придумать своих актеров и заставить двигаться, говорить, чувствовать точно так, как это ощущал он. Резо обрел прекрасные привилегии единственного и полновластного создателя.

И в первый год произвел он свою «Травиату».

Поэму о любви, где его фантазия мудро переплела временное и вечное. Где реалии современных грузинских двориков осветились волшебством его сказок, заблистали тонким лиризмом и иронией, превратились в шутку, почти бытовой анекдот, а потом все взмыло ввысь, повинуясь пронзительной ноте высокой трагедии...

«Альфред и Виолетта» — назвал он эту свою фантазию. И показал маленьких изящных кукол, которые, играя в бабушкину игру «фанты», вольно и смело рассуждают о Достоевском, Фрейде и Буратино и смешно приходят в ужас от возможной встречи с участковым. Он прямо-таки околдовывает жизнью, творимой на сцене. И когда шаткий, отрешенный Альфред, талантливый астрофизик, чья контрольная работа в девятом классе была засчитана как докторская диссертация, забыв о блестящей научной карьере, заключает в объятия рыжеволосую красавицу Виолетту, девушку, проживающую в Тбилиси без прописки, и когда потом хрупкая кукла затрясется в безудержном плаче, горюя об утрате возлюбленной, воспримешь все с такой поразительной личной причастностью, словно проживешь всю эту историю лично, рыдая, замирая от счастья... Совсем забыв, что это всего лишь театр, разыгранный деревянными человечками на ниточках.

И будешь любоваться подлинностью существования марионеток, их пластикой, настолько точной и выразительной, что любое их действие, жест совершаются здесь с такой правдивостью, что сыграть лучше, кажется, не может самый прекрасный актер. И притом каждая кукла — образ, точный характер, продуманный и изобретательно воплощенный. Вещего ворона Невермора Габриадзе сделал из металлической корзинки, принадлежавшей когда-то гастроному, и укрепил на ней разноцветные тряпочки-перья. Более выразительную, подвижную куклу трудно себе представить. И, наконец, Куку, чье здоровье, по версии Резо, весьма подорвано наркотиками... Он сделал его совершенно прозрачным...

Почему же так овладевают нами деревянные человечки из королевства Резо? Почему не дано испытать подобное ни в одном «живом» театре?

Возможно, дело в том, что, глядя на актера, ты видишь подобного себе и отчужденно логично судишь его по праву равного. Марионетку же наблюдаешь с высоты своего человеческого совершенства. Ее трогательная беспомощность вызывает сочувствие, сострадание. Ты подсознательно проецируешь это на свой, «большой» мир. И именно тогда, сквозь куклу, тебе с пронзительной остротой открывается хрупкость, незащищенность человеческого существования. В действие вступает гениально почувствованный и угаданный Габриадзе «эффект марионетки».

Габриадзе организует свою сцену как мини-модель «жизни». Здесь все по правде. Во время спектакля он открывает зрителям только кукол, водящие их актеры остаются за сценой — они невидимы. Само действие строится по принципу киномонтажа (насколько это возможно в условиях театра). Каждая новая сцена — новый кадр, всегда неожиданный, красивый, с по-новому образованным пространством, освещением, целостной композицией. Признаюсь, до работ Резо трудно было представить, что в театральном представлении так органично можно сочетать театр, кино, живопись.

...Неограниченную свободу, данную самодержавной властью, надо было скорее использовать. И родился второй спектакль — «Бриллиант маршала де Фантье».

Эта история еще больше приближается к сказке. Сказке плутовской, народной. Спектакль — почти детектив про то, как грузинский князь получает в наследство огромный бриллиант и вместе с друзьями прямо из духана отправляется за ним в Париж. Как хитрые интриги французов чуть было не лишают благородного князя камня, но он все же получает его и... конечно, дарит возлюбленной. И пешком по шпалам отправляется обратно в родной Тифлис. Сказку свою Резо населяет самыми разными героями. В ней участвуют и знаменитые фольклорные сваха Ханума, духанщик, кинто, и танцовщицы из Гран-опера, и члены некого общества Плеси Пике, и Ван Гог с Гогеном, и Пикассо... еще в люльке, и даже небезызвестный инженер Эйфель. Уже в этой мешанине персонажей ощущаются законы произведения, та раскованность фантазии, с которой сочинена эта чистая и добрая история о благородстве и истинном рыцарстве души.

И второй спектакль «маленького сентиментального театра» (определение Р. Г.) нашел дорогу к сердцу, эмоциям зрителя. И это — главное, потому что главной задачей Резо считает напоминать об основных ценностях, которые порой уходят, как из кулака песок. И без которых жизнь становится черствой, жестокой и некрасивой. И Резо заставляет наши души совершать важную и прекрасную работу — сострадание.

Возможно, иным строгим ценителям этот второй спектакль показался недостаточно театральным, слишком литературным. Что же, Резо торопился, а создание мира — дело непростое, несуетливое. И если первые спектакли были лишь талантливыми подступами к нему, то совершенен по драматургии, россыпи истинно театральных решений оказался последний — «Осень нашей весны».

«Однажды древнему китайскому философу приснился сон, что он бабочка. Проснувшись, он всерьез задумался, кто он: человек ли, которому приснилась бабочка, или спящая бабочка, которой снится, что она — человек. Когда я теперь вспоминаю события сорокалетней давности, то, и не перерождаясь в бабочку, оказываюсь ровно в его положении. Что такое сейчас — то, что было, или то, что будет?.. Не снится ли все это кутаисскому послевоенному мальчику, понятия не имеющему, что здание Банка построено в упадочном стиле модерн, что парашютная вышка есть памятник грузинскому конструктивизму, что по соседству с ними некое здание называется базиликой X века, дремлющей на фундаменте второго века. Не снятся ли все эти здания друг другу, стоя до сих пор бок о бок? Не снится ли Тарзану, что он смотрит фильм про грузинского мальчика? И если этот мальчик проснется, то кем окажется? Я попытался отделить одно от другого, и вот что у меня вышло: кутаисский вестерн 1946 года. Ах, «Судьба солдата в Америке», или «Путешествие будет опасным», или вот «Взлет и падение Бори Гадая»...

Так счел нужным пояснить свое сочинение Габриадзе.

И зажег фейерверки блистательных выдумок.

Его герой — маленькая птичка Боря по прозвищу Гадай. Порой это, правда, птица, порой это человек — смещение происходит моментально, незаметно. То ему шестьдесят, то четырнадцать. То он скромен, то дерзок, но всегда одинаково талантлив...

С первых же минут мы испытываем какое-то удивительное тепло к этой забавной птичке. А она вытворяет на сцене... ах, совсем бог знает что! Боря любит женщину Нинель, и в отчаянии от ее холодности гневно обличает Дарвина за классификацию видов. Его сердце разрывается от любви к Вивьен Ли, которую считает лучшей женщиной всех эпох, недосягаемой туманной леди Гамильтон. Он смотрит на нее через дырку карниза городского кинотеатра, в порыве искренней любви хочет ее поцеловать и... клювом протыкает экран... Он мстит обеим, кутя в привокзальном ресторане с млекопитающими женского пола, а потом летает над городом восьмерками, и по траектории полета начальник милиции понимает, что птица пьяна...

Весь его путь проходит перед нами. Любовь, погоня, камера предварительного заключения, суд и тяжкий приговор — пожизненное сидение в витрине охотничьего магазина среди чучел. И такой тоской наполняется сердце, когда металлическая статуя охотника вдруг оживает и смертельно ранит Борю. И льются слезы над судьбой этой маленькой птички с душой огромной красоты и щедрости, которой наделил ее Резо Габриадзе... Над историей о непонятом и отвергнутом Боре Гадае, знавшем, что такое долг и истинная дружба...

А в финале Габриадзе дарит нам в утешение поразительную картину.

Загораются тысячи звездочек на бархатном ночном небе, и проплывают по нему перед нами фигурки на ниточках — те, что были персонажами его истории. Они плывут ввысь, к звездам. И воспаряет вместе с ними маленькая птичка... И опускаются на тебя очищение, грусть, покой...

На спектаклях Резо сталкиваешься с миром, который, кажется, знал всегда. Радостно его узнаешь, внезапно и счастливо обретая. И думаешь: наконец! Теперь-то навсегда!

Но это обманчиво. Потому что мир этот принадлежит только Резо и возникает лишь при соприкосновении с ним. И уходя, ты можешь взять с собой только чудное воспоминание. Но и оно уже счастье.

Когда я думаю о сочиненной Габриадзе жизни, я наполняюсь радостью, светом и добром. Мне хочется выпить за счастливую жизнь Резо и его Королевства.

P. S. Я обязана была сказать о тех, кто делит с Резо будни его государства. О, конечно же, замечательном директоре театра марионеток Резо Бабудидзе, талантливом ученом, который однажды встретился со своим Мастером и не смог не остаться с ним навсегда. О всех остальных, кто своим трудом помогает создавать эти чудные спектакли. Но список этот велик, и не назову никого, дабы никого не обидеть, забыв. Но — поверьте! — все это прекрасные люди. Да и иных рядом с Габриадзе быть не может.

Грэм ГРИН

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

РОМАН

Рисунки Геннадия НОВОЖИЛОВА

Кто-то передал за рубеж секретную информацию. Под предлогом проверки выполнения инструкции по обращению с секретными документами среди сотрудников разведки был проведен обыск. В кармане плаща у Дэвиса обнаружили письмо агента, которое запрещалось выносить. Вскоре после этого Дэвис во время работы уходит на свидание, попросив Касла отвечать всем интересующимся, что он у дантиста. Несмотря на предупреждение, он вновь берет с собой секретный документ. Однако через полчаса позвонил Уотсон и сказал, что глава разведслужбы Харгривз хочет обсудить с Дэвисом этот документ. Так как при проверке документа не оказалось в сейфе, а Дэвиса на рабочем месте, подозрения против него усиливаются, хотя прямых улик, свидетельствующих, что Дэвис — двойной агент, нет. Обо всем этом и говорят при встрече Харгривз и доктор Персивейл.

— Знаете, мистер Хэллидей, мне нелегко дается «Война и мир».

— Ну что вы. Это замечательная книга, нужно только набраться терпения. Вы уже дошли до отступления из Москвы?

— Нет.

— Страшная история.

— В наши дни не такая уж страшная. В конце концов французы были солдатами, а снег все же лучше напалма. Говорят, в снегу человек просто засыпает, заживо его не сжигают.

— Да, не говорите. Как представлю себе бедных детей во Вьетнаме... Я хотел участвовать в маршах протеста, которые здесь проводили, но сын был категорически против. Он из-за своей лавчонки просто до смерти боится полиции. Хотя, посудите сами, какой такой вред от одной или двух его сомнительных книжонок. Я всегда говорю, что тем, кто покупает это чтиво, особого вреда оно принести уже не может, ведь правда?

— Конечно, это не те чистюли американцы, которые исправно выполняют свой долг на бомбардировщиках, сбрасывающих напалм,— в сердцах заметил Касл. Порой он просто не мог сдержаться и выплескивал наружу небольшую, как верхушка айсберга, часть бурливших в нем эмоций.

— И тем не менее мы совершенно беспомощны,— продолжил Хэллидей.— Правительство распинается о демократии, но оно совершенно безразлично ко всем нашим транспарантам и лозунгам. Другое дело, когда речь идет о выборах. Но и тут мы своими требованиями помогаем решить, какие обещания они могут нарушить в первую очередь, вот и все. На следующий день после наших протестов мы узнаем из газет, что еще одну мирную деревню смели с лица земли, правда, по ошибке. Уверен, что скоро они повторят все в Южной Африке. Сначала были желтокожие дети, хотя они такие же желтокожие, как мы с вами; ну, а потом примутся за темнокожих детишек...

— Если вы не против, вернемся к книгам,— сказал Касл.— Посоветуйте, что мне почитать, но не о войне.

— Всегда можно обратиться к Троллопу,— предложил мистер Хэллидей.— Моему сыну очень нравится этот писатель. Хотя никакого отношения к тому, чем занимается сын, его книги не имеют.

— Никогда не читал Троллопа. По-моему, несколько религиозный? Во всяком случае, попросите вашего сына подобрать для меня книгу и отправить по почте.

— А вашему приятелю «Война и мир» тоже не очень понравилась?

— Нет. Он разочаровался в ней раньше меня. Видимо, тоже пресытился войной.

— Мне не трудно зайти сейчас к сыну и переговорить с ним. Ему, правда, больше по вкусу политические романы, или, как он их называет, социологические. Он тут на днях говорил о книге «Как мы теперь живем». Интересное название, не так ли, сэр? И очень современное. Вы бы хотели взять эту книгу?

— Нет, сегодня, пожалуй, не стоит.

— Итак, как обычно, два экземпляра, сэр? Правильно? Завидую, что у вас есть друг, с которым можно поговорить о литературе. Сейчас так мало тех, кто интересуется книгами.

Выйдя из книжного магазина мистера Хэллидея, Касл прошел до остановки Пиккадилли-серкус и решил позвонить. Он выбрал крайний телефон-автомат и внимательно присмотрелся к говорившей из соседней будки девушке. Прыщавая толстушка все время хихикала и жевала резинку, слушая, что ей говорили в трубку.

— Алло,— ответил абонент Касла.

— Извините, снова ошибся номером,— произнес Морис и вышел из будки.

Толстушка с упоением продолжала болтать, пытаясь прилепить жвачку к телефонному справочнику. Касл какое-то время постоял, наблюдая за девицей, чтобы лишний раз убедиться, что ничем не заинтересовал ее.

— Чем ты занимаешься? — спросила Сара.— Ты разве не слышал звонка в дверь?

Она взглянула на книгу, лежавшую на письменном столе, и с удивлением заметила:

— «Война и мир»... А мне казалось, тебе уже наскучил этот роман.

Касл взял со стола листок бумаги, сложил и убрал его в карман.

— Я тут делал кое-какие наброски для эссе.

— Покажешь мне?

— Пока нет, вот если получится...

— А куда ты собираешься его послать?

— В «Нью-стейтсмен»... или «Энкаунтер»... Не знаю еще точно.

— Ты так давно не садился писать. Очень рада, что тебя снова потянуло.

— Ты права. Я, видимо, обречен на вечные поиски.

Глава III

Касл налил себе еще виски. Сара задержалась наверху с Сэмом, и он томился в ожидании гостя один... Невольно на память пришла сцена, когда он почти целый час ждал Корнелиуса Мюллера в его конторе.

...Ему дали почитать газету «Рэнд дейли мейл». Почему именно эту газету, Касл так и не понял. «Рэнд дейли мейл» самым беспощадным образом критиковала все, связанное с БОСС, организацией, в которой работал Мюллер. Касл еще за завтраком прочел газету и теперь вынужден был перечитывать ее от начала до конца, чтобы убить время. Каждый раз, когда Касл смотрел на стенные часы, он встречался со взглядом одного из двух младших офицеров, которые как истуканы сидели за своими столами и, видимо, по очереди не спускали с него глаз. Они думали, что он выхватит лезвие и вскроет себе вены? Однако пыткам, внушал себе Касл, обычно подвергают в секретной полиции, так по крайней мере ему тогда казалось. Ну, а в его случае в конце концов нечего было бояться издевательств со стороны секретных служб — он был под охраной дипломатического иммунитета и потому недосягаем для палачей. Однако дипломатическая неприкосновенность никоим образом не распространялась на Сару; живя последние годы в Южной Африке, он в полной мере усвоил древнюю заповедь, что любовь и страх неделимы...

Касл допил виски и налил себе в стакан еще немного. Расслабляться было нельзя.

Сара окликнула его сверху:

— Дорогой, чем ты занят?

— Дожидаюсь мистера Мюллера,— ответил он,— и потягиваю виски.

— Не очень увлекайся, милый.

Они договорились, что сначала Касл один встретит Мюллера. Мюллер наверняка приедет из Лондона на посольской машине. На каком-нибудь черном «мерседесе», под стать тем, на которых в Южной Африке разъезжают крупные чиновники.

— Снимите первое замешательство от встречи,— посоветовал Каслу «С»,— а серьезным делом займетесь уже позже, на работе. Дома вам, возможно, удастся собрать нужную информацию... Я имею в виду в отношении того, что известно нам и чем располагают они. Однако, ради бога, Касл, старайтесь держать себя в руках.

Касл пытался охладить свой пыл с помощью виски, внимательно прислушиваясь, не подошла ли машина. Движение в этот час по Кингс-роуд было спокойным — ведь все его соседи наверняка благополучно добрались уже домой.

...Если страх и любовь неделимы, то в равной степени неделимы страх и ненависть. Страх неизбежно порождает ненависть, поскольку он унижает человека.

Когда Касл наконец отложил в сторону «Рэнд дейли мейл» и прервал чтение по четвертому разу злополучной передовицы, в которой беззубо и банально осуждалась порочная практика апартеида, он со всей остротой ощутил свое малодушие. Три года, проведенные в Южной Африке, и последние полгода, когда он полюбил Сару, сделали Касла — в этом он был убежден — малодушным и трусливым.

В кабинете его ждали двое: господин Мюллер восседал за большим столом из лучших южноафриканских пород древесины. На столе лежал перекидной блокнот и поблескивала полированная подставка для карандашей. Там же находилось и досье, раскрытое с определенной целью.

Мюллер выглядел моложе Касла, ему было где-то под пятьдесят; в обычных обстоятельствах, подумал Касл, внешность Мюллера легко было бы забыть: он напоминал самого заурядного чиновника или банковского служащего, проводящего большую часть времени в кабинете. Бледное лицо Мюллера говорило о безразличии к переживаниям посторонних, вместе с тем оно выражало готовность выслушать распоряжения и тут же беспрекословно выполнять их; одним словом, лицо конформиста. Противоположностью Мюллера был второй человек в офицерской форме, внешность которого безошибочно свидетельствовала об агрессивном характере. Военный сидел в кресле, закинув ногу на подлокотник, всем видом давая понять, что он здесь не младший по званию; грубое лицо покрывал загар, свойственный людям, часто и долго находящимся под лучами палящего солнца. Мюллер носил очки в тонкой золотой оправе.

«Ничего удивительного,— подумал Касл,— ведь и вся страна заключена в некую золотую оболочку».

— Присаживайтесь,— предложил Мюллер Каслу достаточно вежливо.

Единственным местом, куда он мог сесть, был жесткий узкий стул сродни церковной скамье, с той лишь разницей, что если Каслу пришлось бы стать на

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—5.

колени на холодном полу, подушечки тут не полагалось. Касл молча сел, и двое сотрудников, один бледнолицый, а другой с багровой физиономией, уставились на него, ничего не говоря. Касл понятия не имел, сколько будет продолжаться молчание.

Корнелиус Мюллер вынул листок из досье, положил его перед собой на стол и стал постукивать по странице золотой шариковой авторучкой. Причем попадал он в одно и то же место, будто заколачивал гвоздь. В тишине, воцарившейся в кабинете, равномерные постукивания можно было принять за тиканье часов. Второй офицер для разнообразия почесал ногу прямо через носок. Так продолжалось довольно долго: постукивание, почесывание, постукивание, почесывание.

Наконец Мюллер соизволил заговорить:

— Рад, господин Касл, что вы сочли возможным навестить нас.

— Не скажу, чтобы мне это было приятно, тем не менее я здесь.

— Нам просто хотелось избежать ненужного скандала и официального обращения к вашему послу.

Теперь Касл безмолвствовал, прикидывая тем временем, что они имели в виду под «скандалом».

— Капитан Ван Донк — он перед вами — довел все до нашего сведения. Он решил, что этим делом лучше заняться нам, а не секретной полиции, учитывая, что вы работаете в английском посольстве. За вами, мистер Касл, довольно долго наблюдали, однако арест в данном случае вряд ли дал бы какие-то практические результаты, посольство сразу подняло бы вопрос о вашей дипломатической неприкосновенности. Мы, со своей стороны, конечно, могли обратиться в суд, и тогда уж точно им ничего бы не оставалось, как отправить вас домой. И на этом, надо полагать, ваша карьера закончилась бы, не так ли?

Касл промолчал.

— Вы вели себя очень неосторожно, даже неумно,— продолжил Корнелиус Мюллер,— однако лично я считаю, что за глупость не следует карать так же сурово, как за преступление. Хотя капитан Ван Донк, а вместе с ним и секретная полиция подходят к этому по-другому, и, вероятно, они правы. Капитан предпочел бы, чтобы мы вас арестовали и предали суду. По его мнению, дипломатическими привилегиями зачастую пользуются многие сотрудники, имеющие низшие ранги в посольствах. И он готов отстаивать свою точку зрения в суде.

От сидения на жестком стуле тело затекло, и Касл хотел было переменить позу. «Однако ерзанье на стуле могут воспринять за признак слабости»,— подумал он. Касл всеми силами пытался понять, что же было действительно известно его противникам. Сколько, например, его агентов им удалось скомпрометировать? Ему было стыдно, что сам он находился в сравнительно безопасном положении. В настоящей войне командир всегда мог погибнуть вместе со своими подчиненными и сохранить, таким образом, уважение к себе.

— Давайте, Касл, говорите,— потребовал капитан Ван Донк.

Он сбросил ногу с подлокотника кресла и подвинулся, будто собираясь встать, явно желая попугать Касла. Капитан разжал кулак и, вновь сжав его, уставился на свой золотой перстень, затем принялся полировать его пальцем, словно перстень был личным оружием, требующим смазки. В этой стране невозможно было избежать золота, оно было повсюду, даже в пыли городов. Художники использовали его для краски, и полицейским, естественно, ничто не мешало бить золотом по лицу.

— О чем же мне говорить? — переспросил Касл.

— Вы ничем не отличаетесь от большинства англичан, приезжающих к нам в республику,— начал поучать Мюллер.— Вы непроизвольно проникаетесь симпатией к черным африканцам. Нам ваши чувства понятны, мы сами являемся африканцами. Ведь мы живем здесь уже триста лет. А все эти банту, как и вы, появились тут недавно. Однако мне незачем давать вам урок истории. Я уже сказал, мы понимаем ваши взгляды, хотя вы и весьма несведущи. Но когда человека захлестывают эмоции, это становится опасным, а когда вы дошли до того, что готовы преступить закон...

— Какой закон?

— Уверен, вы прекрасно знаете, какой закон.

— Вы правы, я действительно собираюсь заняться изучением апартеида. Мое посольство, кстати, не возражает. Это будет серьезное социологическое



исследование, и вполне объективное, но пока я его только обдумываю. И вряд ли вы по закону имеете право выступать цензорами моей научной работы. Кроме того, полагаю, исследование не будет опубликовано у вас в стране.

— Если вам хочется переспать с чернокожей,— резко прервал его капитан Ван Донк,— в вашем распоряжении публичные дома в Лесото и Свазиленде. Эти страны ведь до сих пор входят в ваше так называемое Содружество наций.

И только тогда Касл впервые понял, что опасность нависла не над ним, а над Сарой.

— Я уже не так молод, чтобы интересоваться шлюхами,— ответил он.

— А где вы находились ночью четвертого и седьмого февраля и днем двадцать первого февраля?

— По всей видимости, вам это известно или считаете, что известно...— парировал Касл.— Все рабочие записи я веду у себя на работе.

Он не виделся с Сарой двое суток. Неужели она попала в руки таких, как капитан Ван Донк? Касл почувствовал и страх, и ненависть. Он забыл даже, что официально является дипломатом, пусть даже низшего ранга.

— Какую белиберду вы тут несете? А вы?— добавил Касл, обратившись к Корнелиусу Мюллеру.— Что вы-то от меня хотите?

Капитан Ван Донк казался грубым и незатейливым человеком, имеющим свои, хоть и чуждые Каслу убеждения,— его можно было простить. Но вот кого Касл никогда бы не мог простить, так это холеного и образованного офицера БОСС Мюллера. Именно такие — образованные и отдающие полный отчет своим поступкам — способны на крайнюю жестокость. Касл вспомнил слова своего друга — коммуниста Карсона, которые тот любил повторять: «Наши злейшие враги здесь — не невежественные и глуповатые, хоть и жестокие люди, наши злейшие враги — понятливые и продажные».

— Вам прекрасно известно,— заявил Мюллер,— что вы нарушили закон о расовых отношениях, встречаясь с чернокожей девицей.

Мюллер говорил нарочитым тоном банковского служащего, отчитывающего несостоятельного клиента за то, что тот допустил недозволенный перерасход.

— Вы, должно быть, отдаете себе отчет в том, что если бы не ваш дипломатический иммунитет, вы бы давно уже были в тюрьме.

— Где вы ее укрываете?— грубо прервал его капитан Ван Донк.

— Укрываю?— с облегчением переспросил Касл.

Капитан поднялся с кресла, поглаживая перстень и время от времени поплевывая на него.

— Все нормально, капитан,— остановил его Мюллер.— Можете доверить мне мистера Касла. Не стану вас больше задерживать. Благодарю за помощь, которую вы оказали нашему департаменту. Теперь я хочу переговорить с мистером Каслом наедине.

Когда дверь за капитаном закрылась, Касл оказался, как сказал бы Карсон, «с глазу на глаз с настоящим врагом». Мюллер продолжил:

— Не стоит обращать внимания на капитана Ван Донка. Подобные ему не видят ничего дальше своего носа. Ведь есть другие возможности спокойно утрясти дело и не затевать судебный процесс, который кончится для вас крахом, но и нам не очень-то поможет...

— Подъехала машина.

Голос Сары вернул Касла в реальный мир. Касл подошел к окну. Черный «мерседес» медленно двигался по Кингс-роуд мимо ничем не примечательных домиков. Водитель, очевидно, искал нужный номер дома, но, как всегда в таких случаях, несколько фонарей на улице не горело.

— Да, пожаловал мистер Мюллер,— ответил Саре Касл; ставя стакан на столик, он заметил, как судорожно сжимал его в руке.

Когда позвонили, Буллер залаял, но после того, как Касл открыл дверь, боксер по-свойски завилял хвостом перед незнакомцем и даже облизал его брюки.

— Хороший пес, хороший пес,— с опаской повторял Мюллер.

За годы, прошедшие после их последней встречи, Мюллер сильно изменился: почти полностью поседел и не выглядел таким моложавым, как прежде. Он не производил уже впечатление чиновника, всегда отвечающего впопад. За это время с Мюллером явно что-то произошло: он казался более человечным — возможно, с повышением по службе обязанностей у него прибавилось, а с ними появилась и неуверенность, и сомнение в себе.

— Добрый вечер, мистер Касл. Хочу извиниться, что задержался. Но мы попали в пробку в Уотфорде, по-моему, это местечко именно так называется.

Теперь Мюллера можно было принять за человека, смущающегося по каждому пустяку, или такая перемена, возможно, наступила в нем потому, что он оказался вне привычной для него обстановки — не в своем рабочем кабинете и не за письменным столом, к тому же без охранников в приемной. Черного «мерседеса» тоже не было поблизости — шофер поехал ужинать. Мюллер оказался один в незнакомом городе, в чужой стране, где на почтовых ящиках красовались инициалы королевы и на рыночной площади не возвышалась статуя Крюгеру.

Касл налил виски.

— Мы давно не виделись,— начал разговор Мюллер.

— Лет семь?

— Весьма признателен, что вы пригласили меня на ужин к себе домой.

— Шеф считает, что так будет лучше. Для плодотворного начала. По всей вероятности, нам предстоит довольно тесное сотрудничество в связи с проектом «Дядюшка Римус».

Мюллер метнул взгляд на телефон, затем на настольную лампу у дивана, на вазу с цветами.

— Все в порядке. Не стоит волноваться. Нас могут подслушивать здесь лишь мои люди,— успокоил его Касл.— Однако совершенно уверен, что нам нечего бояться.— Он поднял бокал.— За нашу последнюю встречу. Помните, вы тогда предложили мне работать на вас? Итак, я ваш. И мы работаем теперь вместе. Ирония судьбы или ее предначертание? Ведь ваша голландская церковь учит именно этому.

— Конечно, тогда я понятия не имел о том, кто вы на самом деле,— пояснил Мюллер.— Знай я об этом раньше, я бы не угрожал вам связью с той несчастной чернокожей. Теперь-то я понимаю, что она была одним из ваших агентов. Мы могли бы использовать ее в совместных операциях. Однако поймите, я принял вас за обычного надменного мечтателя, противника апартеида. Не представляете, как я удивился, узнав от вашего шефа, что именно с вами мне предстоит работать над проектом «Дядюшка Римус». Надеюсь, вы не злопамятны. В конце концов мы ведь с вами профессионалы и находимся сейчас по одну сторону баррикад.

— Да, видимо, так.

— Хочется все же узнать — ведь теперь это не имеет уже принципиального значения, не так ли?— как вам удалось тогда вывезти негритянку? Вы, наверно, переправили ее в Свазиленд?

— Да.

— Я полагал, мы довольно надежно перекрыли границу, не принимая, конечно, в расчет возможности профессиональных подпольщиков. Не считал вас таким экспертом, хотя знал о ваших контактах с коммунистами. Мне казалось, они были нужны вам в работе над книгой об апартеиде, которая, кстати, так и не была опубликована. Вы меня тогда переиграли. Не говоря уже о Ван Донке. Помните еще капитана Ван Донка?

— Да, конечно, его трудно забыть.

— Мне пришлось обратиться в секретную службу, чтобы его понизили в должности за провал операции. Он так неуклюже вел ваше дело. Уверен, что если бы девица целой и невредимой сидела у нас в тюрьме, вы наверняка согласились бы работать на нас, а он дал ей улизнуть. Видите ли, только не смейтесь, я тогда был убежден, что у вас с ней настоящая большая любовь. Я знал довольно много англичан, которые начинали с борьбы с апартеидом, а заканчивали в подстроенной нами ловушке — объятиях негритянок. Дело в том, что романтические идеи, вызов несправедливым законам привлекают их ничуть не меньше, чем смазливые черненькие. Но я никогда не думал, что эта самая Сара Манкози — так, кажется, ее звали?— все это время была агентом британской МИ-6.

— Она и сама не знала. Она тоже верила в то, что я работал над книгой. Налить еще виски?

— Да, благодарю.

Касл вновь наполнил бокалы, надеясь, что сможет перепить гостя.

— Судя по всему, она была неглупа. Мы внимательно изучили ее досье. Окончила университет для африканцев в Трансваале, где американские профессора плодят, как правило, опасных студентов-вольнодумцев. Хотя, честно говоря, лично я всегда считал, что чем умнее чернокожий, тем легче его обратить в нашу или не нашу веру. Продержи мы эту девицу в тюрьме с месячишко, ничуть не сомневаюсь, что нам удалось бы ее перевербовать. И она теперь могла бы нам обоим пригодиться в работе над проектом «Дядюшка Римус», не так ли? К счастью, эта страшная старая история позади. Представляю себе, как бы она вам теперь опостылела. Чернокожие африканки так быстро старятся; им нет еще тридцати, а на них уже смотреть противно, во всяком случае, белому человеку. Знаете, Касл, искренне рад, что мы с вами сейчас работаем вместе и вы оказались не тем, за кого мы вас в БОСС принимали, никаким там не идеалистом, который хотел изменить человеческую натуру. Мы знаем тех, с кем вы поддерживали контакты, по крайней мере большинство из них, и можем себе представить, каких глупостей они вам только не наговорили. Но вы нас перехитрили, как, впрочем, и африканских негров, и коммунистов. Наверное, они, как и мы, думали, что вы пишете книгу, которая сослужит им добрую службу. Учтите, я не испытываю ненависти к африканцам, как капитан Ван Донк. Я сам считаю себя стопроцентным африканцем.

Это, несомненно, был уже другой Корнелиус Мюллер. Тот бледнолицый чиновник из Претории, лишь выполнявший указания, никогда не смог бы так непринужденно и уверенно вести разговор. Недавняя робость и нерешительность исчезли под действием виски. Мюллер в полной мере ощущал себя одним из руководителей БОСС, которому вверили важную заграничную миссию и который подчинялся лишь приказам генерала. Теперь он мог позволить себе расслабиться и быть самим собой. Это покоробило Касла. Ему показалось, что Мюллер вульгарной и грубой речью все больше и больше походил на капитана Ван Донка, которого сам Мюллер, по его же словам, терпеть не мог.

— В Лесото я проводил довольно-таки приятные уик-энды,— продолжал Мюллер,— бок о бок с черными братишками в казино отеля «Холлидей-инн». И должен признаться, однажды даже позволил себе маленькое, так сказать, развлечение. Но там все это рассматривается по-другому и не противоречит закону. И в тот момент я был за границей.

Касл позвал:

— Сара! Приведи Сэма пожелать мистеру Мюллеру спокойной ночи.

— Вы женаты?

— Да.

— Мне тем более приятно, что вы пригласили меня к себе. Я тут привез несколько сувениров из Южной Африки, может, что-то придется по вкусу вашей жене. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Теперь, когда мы работаем вместе, к чему я и раньше стремился,— вы мне поведаете, как вам удалось переправить черномазенькую через границу? Теперь это уже не может повредить вашим бывшим агентам и, наоборот, в какой-то мере касается проекта «Дядюшка Римус» и других наших общих проблем. Теперь и ваша, и моя страна, и Соединенные Штаты связаны воедино.

— Лучше, наверно, она сама вам расскажет. Позвольте представить вам мою жену и сына Сэма.

Сара с Сэмом как раз спускалась по лестнице, когда Корнелиус Мюллер повернулся в их сторону.

— Мистер Мюллер интересуется, как мне удалось тогда переправить тебя в Свазиленд, Сара.

Касл недооценил Мюллера. Ему не удалось ошеломить визитера, на что он надеялся.

— Очень рад познакомиться с вами, миссис Касл,— обратился Мюллер к Саре, пожав ей руку.

— Нам так и не удалось с вами встретиться тогда, семь лет назад,— заметила Сара.

— Вы правы. Семь лет — впустую. У вас очень красивая жена, Касл.

— Благодарю вас,— сказала Сара.— Сэм, пожми руку мистеру Мюллеру.

— Познакомьтесь с моим сыном,— представил Касл Сэма, понимая, что Мюллер отлично разбирается в оттенках кожи африканцев, а Сэм был темнее матери.

— Рад познакомиться, Сэм. Ты ходишь уже в школу?

— Он пойдет в школу через неделю или две. Ну, а теперь, Сэм, бегом в кроватку.

— А вы умеете играть в прятки?— спросил мальчик.

— Когда-то умел, но всегда могу играть по правилам, которые ты предложишь.

— А вы шпион, как и Дэвис?

— Я сказала тебе идти спать, Сэм.

— А авторучка с ядом у вас есть?

— Сэм! Иди к себе!

— Ну, а теперь, Сара, ответь, пожалуйста, на вопрос мистера Мюллера,— обратился к ней Касл.— Расскажи, где и как ты попала в Свазиленд?

— Думаю, лучше не стоит это вспоминать, не так ли?

— Ну, конечно, не стоит вспоминать Свазиленд,— ответил Корнелиус Мюллер.— Все уже в прошлом и происходило в другой стране.

Касл наблюдал, как Мюллер, подобно хамелеону, приноравливался к обстановке. Мюллер, видимо, также приспосабливался и в Лесото, проводя там уик-энды. Он, наверное, казался бы Каслу не столь отталкивающим, если бы не так изворачивался.

За ужином Мюллер поддерживал светский разговор. «Да,— подумал Касл,— лично я предпочел бы капитана Ван Донка. Тот сразу бы покинул дом, увидев Сару». Предрассудки, по существу, сродни идеалам. А Корнелиус Мюллер, судя по всему, был лишен как предрассудков, так и идеалов.

— Как вам нравится климат в Англии, миссис Касл, по сравнению с Южной Африкой?

— Вы имеете в виду погоду?

— Да, погоду.

— Климат здесь более умеренный,— ответила Сара.

— А по Африке вы иногда скучаете? По пути сюда я некоторое время провел в Афинах и Мадриде, и не был дома несколько недель. И знаете, чего мне не хватает больше всего? Гор обработанной руды в окрестностях Йоханнесбурга в лучах заходящего солнца. О чем, интересно, тоскуете вы?

Касл не подозревал Мюллера в эстетическом восприятии мира. Видимо, эмоциональность он приобрел вместе с более высоким положением, а может быть, она также наигранна и подогнанна под ситуацию, как и чрезмерная вежливость Мюллера.

— Мои воспоминания отличаются от ваших,— парировала Сара.— Поскольку моя Африка не похожа на вашу.

— Ну не надо, мы же оба африканцы. Кстати, я привез подарки знакомым. Не зная, что мы с вами соотечественники, я собирался подарить вам шаль. Вы ведь знаете кружева из Лесото — настоящие королевские кружева. Примете шаль в подарок от вашего давнишнего врага?

— Разумеется, очень любезно с вашей стороны.

— А как вы думаете, уместно ли подарить леди Харгривз сумочку из страусовых перьев?

— Я с ней вообще-то не знакома. Лучше, наверно, спросить моего мужа.

«Сумочка из крокодиловой кожи больше бы соответствовала ее аристократическим манерам»,— подумал про себя Касл, но вслух произнес:

— Конечно, уместно... подарок от вас...

— У меня к страусам, если можно так выразиться, семейный интерес,— объяснил Мюллер.— Мой дед был, как теперь говорят, одним из страусовых миллионеров. Но в войну 1914 года его «дело» прогорело. У деда было в Капской провинции большое хозяйство. Дом был роскошным, но теперь от него остались одни руины. Страусовые перья так и не вошли в моду в Европе, и мой отец разорился. Но братья до сих пор держат несколько страусов.

Касл припомнил, что как-то посещал страусовое хозяйство, которое превратили в музей. За домом присматривал бывший управляющий, и это все, что осталось от прежней славы страусовых ферм. Управляющий неловко извинялся за излишества и дурной вкус хозяев. Главная достопримечательность экскурсии — ванная комната, и посетителей туда водили под конец. Сама ванна была размером с большую белую двуспальную кровать с позолоченными кранами, стену украшала неудачная копия какого-то итальянского примитивиста; к тому времени и с нее уже начала слезать позолота.

После ужина Сара оставила их вдвоем, и Мюллер согласился выпить портвейна. Бутылка — подарок Дэвиса — стояла нераскупоренной с самого рождества.

— Если серьезно,— не успокаивался Мюллер,— мне бы хотелось услышать более подробный рассказ о том, как ваша жена перебралась в Свазиленд. Нет никакой необходимости называть имена. Знаю, у вас были друзья и среди коммунистов. Теперь-то я понимаю, это являлось частью работы. Вас считали сентиментальным путешественником. Таким вас наверняка видел Карсон, впрочем, мы тоже. Бедняга Карсон.

— Почему «бедняга»?

— Он зашел слишком далеко, связался с партизанами. А ведь был он неплохим, по существу, человеком и отличным юристом, адвокатом. Секретной полиции он доставил немало хлопот.

— А почему вы о нем в прошедшем времени?

— Ну как же! Он умер год назад в тюрьме.

— Я об этом не знал.

Касл подошел к серванту и налил себе двойную порцию виски с содовой. По цвету коктейль выглядел не крепче, чем одинарная доза.

— А портвейн не очень уважаете? — поинтересовался Мюллер.— В былые времена мы получали прекрасный портвейн из Лоренсу-Маркиша. Увы, это уже в прошлом.

— А что с ним случилось?

— Воспаление легких,— ответил Мюллер.— Это, кстати, спасло его от сурового наказания.

— Я симпатизировал Карсону,— признался Касл.

— Да. Жаль, что он судил об африканцах по цвету кожи. Этой ошибкой грешат чернокожие. Они никак не хотят признать, что белый африканец может быть ничуть не хуже черного. Мои предки, например, поселились в Африке в 1700 году и были настоящими первопроходцами.— Мюллер взглянул на часы.— Боже мой! Как я засиделся. Водитель, видимо, ждет целый час. Прошу извинить, но пора ехать.

— Может, поговорим все-таки немного о проекте «Дядюшка Римус»? — заметил Касл.

— Оставим это, пожалуй, до нашей следующей встречи в конторе.— Уже в дверях Мюллер повернулся и добавил: — Весьма сожалею по поводу Карсона. Если бы знал, что вам ничего не известно, я бы не говорил так резко.

Буллер, как старому знакомому, облизал Мюллеру брюки.

— Хороший пес,— похвалил его Мюллер.— Хороший пес. Нет ничего лучше собачьей верности.

Где-то в час ночи Сара нарушила молчание:

— Ты ведь не спишь. Не притворяйся. Тебе так не по себе от встречи с Мюллером? В общем, он вел себя довольно любезно.

— Да, безусловно. В Англии он ведет себя как истинный англичанин. Он прекрасно умеет приспосабливаться к обстановке.

— Может, тебе дать снотворного?

— Нет, не стоит. Я скоро засну. Я хотел сказать тебе кое-что. Карсон умер. В тюрьме.

— Они его убили?

— Мюллер сказал, что он умер от пневмонии.

Сара спрятала голову в подушку. Касл понял, что жена плачет. Он произнес:

— Сегодня мне вспомнилась его последняя записка. Он оставил ее в посольстве, и я нашел ее, вернувшись с допроса от Мюллера и Ван Донка: «Не беспокойся за Сару. Вылетай первым самолетом в Л. М. и жди в отеле «Полана». Она в надежных руках».

— Да, я тоже помню эту записку. Он писал ее при мне.

— Так и не удалось поблагодарить его, не считая семи лет молчания и...

— И?

— Ничего конкретного, не знаю даже точно, что хотел сказать.— Немного помолчав, Касл повторил то, в чем признался Мюллеру: — Я симпатизировал Карсону.

— Да, я тоже верила ему. Гораздо больше, чем его друзьям. За неделю, пока ты ждал меня в Лоренсу-Маркише, мы с ним говорили о многом. Я тогда сказала ему, что он совсем не похож на других коммунистов.

— Почему же? Он был членом компартии. Одним из ее старейших членов, оставшихся в Трансваале.

— Конечно, знаю. Но и коммунисты бывают разные, не так ли? Я рассказала ему о Сэме раньше, чем тебе.

— Да, он умел расположить к себе.

— Большинство коммунистов, которых я знала, были мне симпатичны, но не настолько, как Карсон.

— Да, Сара, он был настоящим коммунистом. Он пережил сталинскую эпоху, как римские католики некогда пережили самые трудные времена своей истории. Именно Карсон изменил мое отношение к партии.

— Но ему не удалось до конца перетянуть тебя на свою сторону или?..

— Знаешь, мне всегда что-то мешало. Карсон часто повторял, что я за деревьями не вижу леса. Да и к религии я относился сдержанно, распрощавшись еще в школьные годы с богом; иногда там, в Африке, я встречался со священниками, которые пробуждали во мне веру, правда, ненадолго, ведь обычно мы беседовали за рюмкой. Если бы все священнослужители были похожи на них, и я виделся бы с ними чаще, то, возможно, в конце концов поверил бы в воскресение Христа, непорочное зачатие, чудо с Лазарем и вообще в святое писание. Помню одного из них, я дважды с ним встречался, так как собирался использовать его, как и тебя, в качестве агента, но он не подошел. Звали его Коннолли, или О'Коннелл. Работал в трущобах Соуэто. Поразительно, он повторял мне то же, что и Карсон, что я за деревьями не вижу леса... На какое-то время я даже почти поверил в его бога, как когда-то в бога Карсона. Наверно, я от рождения способен верить лишь наполовину. Когда говорят о событиях в Праге и Будапеште и о том, что коммунизм и человечность несовместимы, я молчу. Мне довелось однажды встретить настоящего человека. Я вновь и вновь повторяю, что если бы не Карсон, Сэму суждено было родиться в тюрьме и тебе самой вряд ли удалось остаться в живых. Так что коммунизм или коммунист спас жизнь тебе и Сэму. Не могу сказать, что преклоняюсь перед Марксом и Лениным больше, чем перед святым Павлом, но разве я не имею права на ответную благодарность?

— Не стоит так волноваться. Никто не посмеет упрекнуть тебя в том, что ты вправе быть благодарным. Я тоже признательна им. Это чувство здесь вполне уместно, если...

— Если?..

— Кажется, я хотела сказать, если оно не заведет тебя слишком далеко.

Касл еще долго не мог заснуть. Он лежал и думал о Карсоне, Корнелиусе Мюллере, «Дядюшке Римусе»... Он не хотел засыпать, пока не убедился, что Сара спит. И только тогда Касл позволил себе, копируя своего любимого детского героя, окунуться в воды подземного ручья, который плавно понес его к погруженному во мглу материку, в город, где Касл хотел обрести постоянное место жительства, стать полноправным гражданином. Таким, от которого не требуется клятва верности ни богу, ни Марксу. Где он будет просто жителем города под названием Умиротворенность.

Перевела с английского Мария ОСИНЦЕВА.

Продолжение следует.

МИМОЛЕТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Окончание.
Начало на стр. 9.

ние, за связь с «ленинградским делом»... Однако то собрание с Зощенко потрясло и бывалых, все видавших ленинградских писателей.

На сцене стоял большой портрет М. М. Зощенко, под портретом корзины цветов. Я открывал торжественное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках «Серапионовых братьев», о вещах веселых, трогательных. Это был тот же зал ленинградского Дома писателей. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амуры такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Зал был битком набит, стояли вдоль стен, толпились в дверях.

Никого из тех, кто проводил то собрание, не было уже в живых. Почему так бывает, думал я, что когда приходит время, устыдиться уже некому и спросить не с кого...

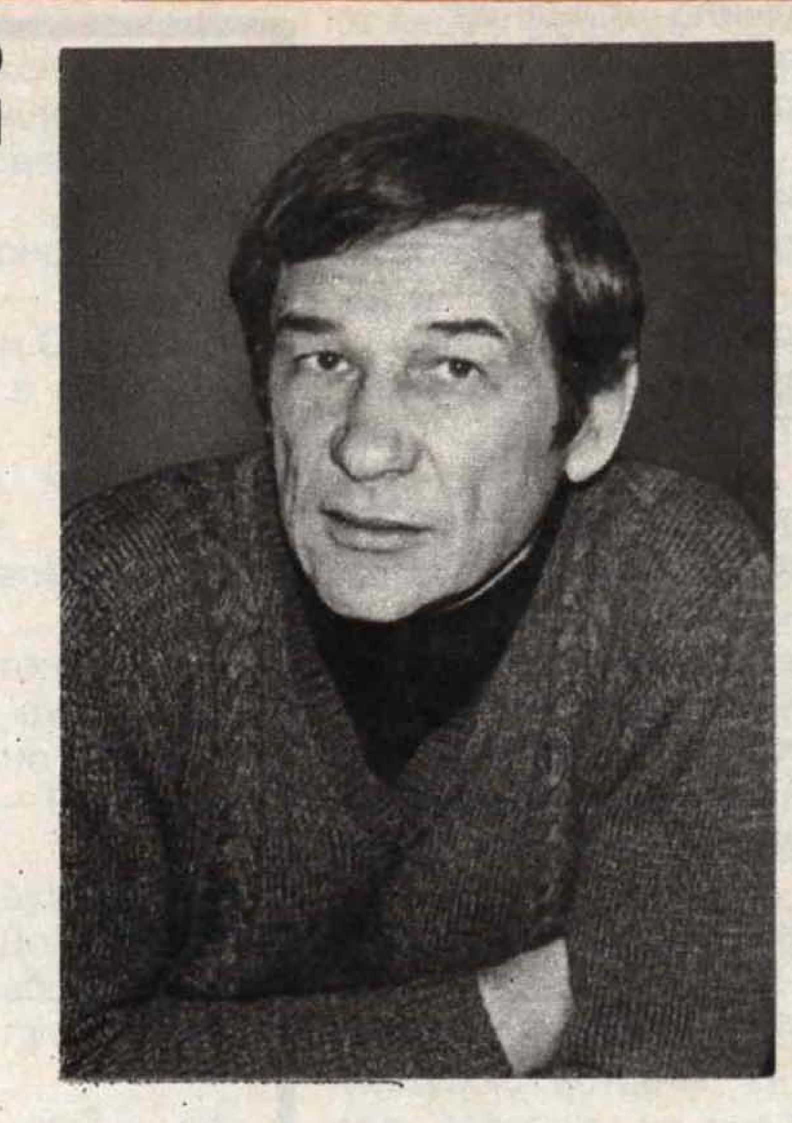
Из выступлений получалось, что те известные события доконали М. М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Попробовал процитировать его выступление. И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, исчез, неразличимо расплылся, осталось впечатление.

После юбилея я обратился в архив, в один, в другой. Стенограммы выступления Зощенко нигде не было. Числилась, но не было. Она была изъята. Когда, кем — неизвестно. Очевидно, кому-то документ показался настолько возмутительным или опасным, что и в архивах не следовало его держать. Копии нигде обнаружить тоже не удалось. Сколько я ни справлялся у писателей — как водится, никто не записал. Понимали, что произошло нечто исключительное, историческое и не записали по российской нашей беспечности.

Однажды, сам не знаю почему, я рассказал знакомой стенографистке, что тщетно много лет разыскиваю такую-то стенограмму. Моя знакомая пожала плечами, вряд ли, не положено ведь оставлять себе копии, особенно в те годы это строго соблюдалось. На том кончился наш разговор. Через месяца два она позвонила мне, попросила приехать. Когда я приехал, ничего не объясняя, она протянула мне пачку машинописных листов. Это была та самая стенограмма выступления Михаила Михайловича. Откуда? Каким образом? От стенографистки, которая работала на том заседании. Удалось ее разыскать. Стенографистки хорошо знают друг друга.

К стенограмме была приложена записка: «Извините, что запись эта местами приблизительна, я тогда сильно волновалась, и слезы мешали». Подписи не было. И моя знакомая ничего больше рассказывать о ней не стала, да и я не стал допытываться. Я пытался представить неизвестную мне женщину, которая тогда на сцене сбоку, за маленьким столиком работала, не имея возможности отвлечься, посмотреть на Зощенко, на зал, вникнуть в происходящее. И, однако, лучше многих из нас поняла, что Зощенко не мимолетное явление, что речь его не должна пропасть, сняла себе копию, сохраняла ее все эти годы...

Владимир
ЛЕОНОВИЧ



МИЛОСЕРДИЮ СРОДНИ

Некоторые из этих стихотворений
я читал раньше.
Шли семидесятые.
Владимир Леонович,
в ту пору автор
единственной книжки «Во имя»,
любил наезжать в Кострому —
здесь он родился,
а я тогда жил,— мы
встречались, и он читал Галактиона
Табидзе и свое.
Именно так:
Табидзе и свое.
Для русского слуха Галактион
в переводах Леоновича прекрасен.
В нем красота,
твердость и неукротимость духа.
Шли семидесятые годы,
не особенно
жалующие людей
сколько-нибудь независимого
строя мыслей.
Владимир Леонович тяготился
литературной Москвой,—
он то уезжал учительствовать
в далекое костромское село,
то подряжался на лето
плотничать в районном городке...
Он и тогда верил,
что «чистая основа» жизни
не может прерваться
и непременно продлится.
Образ
провинциальной России,
ее народа,
пространства и культуры живет
в его книге «Нижняя Дебря»,
в его поэзии,
еще, на мой взгляд, недооцененной
и недопонятой.
И открытой будущему.

Игорь ДЕДКОВ

КАКАЯ МУЗЫКА БЫЛА!

Фронтоны весом в тыщу тонн —
строй долговечности досадной,
величье серости фасадной,
полурельефы фальшколонн.

Темны квадратики стекла:
окошек мощные надбровья
запомнили средневековье.
Гранитный цоколь — как скала.

Стоят не глядя, не дыша
дома особенного стиля.
Какая музыка застыла
и отпечаталась — душа!

Вы дорисуйте мост и ров
перед угрюмою стеною.
Дом выстроен перед войною
руками лучших мастеров.

ЭПОХАЛЬНОЕ СЛОВЦО

Десять коек — дышим тяжко —
двухэтажных — под и над.
Расторопная шабашка
внедрена в сельхозуклад.
В 10 ляжем, в 5 встаем,
ни граммулечки не пьем.
Нам лентяи платят подать,
люди пришлые в цене
(и свои подзаработать
норовят на стороне).
Где свои? А кто в ремонте,
кто не в духе — и не троньте,—
кто сидит на бюлютне
и транзистор на окне.
Кто опять в командировке —
выбить что, за горло взять.
Вон — один сидит на бровке —
в поле воин — пашет зябь.
Разве только в день оклада
собирается бригада:
всем бездельникам подряд
полагается оклад...
Те, выходит, и крестьяне,
кто на фоне местной пьяни
пашет, что ни говори,
от зари и до зари.
Возникает на бесхозье
тороватая артель —
дорогой и званой гостье,
надо бы спасибо ей...

Бревна давнего залома
каменеют в берегу,
где студеная Молома
вольную дает дугу.
Эту реку не томили —
не прудили, не прямили...
Слышу вятский говорок:
пишет Витя-бугорок.
Зарифмуем письмецо,
эпохальное словцо
не сотрем и не заклеим:
— Хорошо живем, наглеем...
Бригадир мой осерчает,
если что совру не так.
Работягу выручает
запланированный брак.
Тут кому-нибудь икнется:
дважды рубль обернется
около одной дыры.
— Переходим на дворы.
Обижаются коровы:
подгнивает потолок,
потекли твои хоромы —
надо выручить «залог».
Сам себя не пожалеешь —
будешь инвалид труда.
Что не пишешь никогда?
Обижаешься?
Наглеешь...

БЕЗ ПОКАЯНЬЯ

Разглядываю в Римском зале,
как желтый мрамор зализали
до самых-самых микропор
и вижу Первый Рим — в упор.

Где нет лица, там есть ухмылка,
ухмылка поважней лица...
Всей этой мелочи копилка,
вся эта тонкость без конца!
Не мраморы, а гипсы, впрочем.
Подделка здесь еще верней.
Что человечий род порочен —
банальность явная. Под ней —

то, что тебе уже не снится —
ты этим жил... Увы, увы,
но превратился в очевидца,
перелагателя молвы.

Одно я только знаю крупно:
воздвигнутое на крови
должно погибнуть — врозь
и купно —
без покаянья. Без любви.

ЧАСОВЕНКА

В дебрях крупноблочного квартала,
в недрах городского бытия
невредимо при дороге встала
малая часовенка моя.

Где проходит служащая смена,
вздернув плечи, опустив носы,
в силу некоего феномена
останавливаются часы.

Возле этих маленьких часовен —
темного наследья старины —
я давно заметил: час неровен
и в движеньях люди неверны.

Время — ход просторный, ход
державный,
неоглядывающийся ход —
повергается в какой-то плавный
обморок или круговорот.

Время пропадает несомненно:
час мелькнул, покуда миг протек.
В силу некоего феномена
о душе подумал человек.

ТАК И ТАК

Слабого не соблазни.
Истина дурна и дика.
Фальши затяжное иго
милосердию сродни.
Слов прямых не говори,
есть важнейшие резоны:
в быстрой камере кессона
кровь вскипает изнутри.
Чахнут елочки — в тени,
а на вырубке — от света:
должного иммунитета
не приобрели они.
Так и так, мои друзья.
Выбор наш весьма убийствен:
между долгого вранья
и скоропостижных истин.

ОБИДИЩА

Заброшены поемные луга.
Трава дичает, и земля тоскует,
и речка дремлет. Водоросли взяли
дурную силу. Волглая земля
пружинистую кочку выгоняет.
Травы — по грудь! Ступил — упал,
и впору
на лыжах по июлю пробираться.
Зовутся одичалые места
обидищами...
Что же делать? Гну
из проволоки кошку и тащу
челнок «Титаник» через хвощ
и тальник,
и русло прорубаю в ивняках,
и колодняк растаскиваю. Кошкой
русалочьи выдергиваю космы
и волокно прикидываю в деле
каком-нибудь... Ух, жарко! Овода.
Кисельная вода, кисельный берег.
Четвертый прочищаю омуток
для хариуса — он травы не любит.
Но мне не выкосить лугов
дремучих,
где стожары торчат с тех давних
пор,
как тут еще косила бабка Лиза:
— И хвощик в тихой речке,
и осоку,
а на запретных поженках лесных
косили по ночам... Придут —
отымут,
а чем кормить скотину? Дети дак!
У, нероботь сотоньская! Шныряют,
етапами стращают, все свезут —
паду и заревусь, едва отходят...
Обидища.
Зачем я привязался
к тяжелым, погибающим местам?
Три человека тут еще зимуют:
два дыма по утрам стоят высоко
над яркими карельскими снегами,
два огонька горят в потемках
ранних.
Зачем я — на погосте! — дом
поставил?
Не знаю. Руки знали. Вот он — дом.
Вот печь — да русская! Так я писал
поэму,
как эту печку складывал — чтоб
тяга...
Вон — озеро в окне, и волны света
скользят по потолку...
Зачем-зачем? Затем!
Не спрашивай, а дело делай
как первоклеточка всего Творенья
в какой-нибудь начальной
преисподней.
Теперь крестьянский пот тебя
научит,
чему не учат университеты.
Теперь опомнись и БЛАГОСЛОВИ
НАРОДНУЮ РАБОТУ и прими
великую народную обиду...

А к вечеру, бывает, с ног валюсь.
А если не валюсь, мой день неполон.
— Ты каторжной,— мне Лиза
говорит.
— Сама-то какова?
— А дух выходит,
выходит, Вовушка.

При всем при том
меня гнетет — несделанное дело,
преследует — несказанное слово.
Я чувствую огромную усталость
от жизни — той, не прожитой — и
смерть
приму от нарастающего долга.

На пороге нового тысячелетия

Эксперт ЮНЕСКО по делам воспитания и просвещения, член Всемирного совета обществ сравнительной педагогики и член Европейского региона международной федерации планированного родительства профессор-социолог Академии наук Польской Народной Республики Миколай КОЗАКЕВИЧ отвечает на вопросы корреспондента «Огонька» Новеллы ИВАНОВОЙ.

«Почти идеальное супружество» — так называется одна из популярнейших книг, написанных профессором Козакевичем. Я выписала себе на память его «Десять шутливых советов, как лучше воспитать хулигана». Первый совет: «Сделай своего ребенка центром внимания, позволяя ему все, что придет в голову, для исполнения его желаний будь готов к любым отречениям и жертвам». Или: «Ни от чего не отказывайся ради него. Не выполняй даже самых необходимых просьб и пожеланий». А вот совет десятый: «Когда заметишь, что к нему пришла первая любовь, тотчас снабди его полным набором противозачаточных средств и заверь его, «если что», он может рассчитывать на твою финансовую поддержку, чтобы ликвидировать последствия этого романа». И еще: «Когда заметишь, что он влюбился, потребуй порвать с девушкой под угрозой изгнания из дома, устрой скандал девушке и ее родителям, требуя, чтобы «она отцепилась» от твоего сына. Затем окружи его надзором, перехватывай, читай его письма, проверяй карманы и портфель в поисках следов запрещенной тобой любви». Перечислив десять подобных шутливых советов, автор заключает: «ГАРАНТИЯ! Гарантируется, что после 15—18 лет воспитания в любом из двух вариантов ваш сын вырастет чистокровным хулиганом и у него будет много шансов на увековечение своего имени в памятных книгах милиции».

Встретившись с Миколаем Козакевичем, я узнала, что у него двое детей, и спросила, что его, отца и ученого, больше всего тревожит в проблеме взаимоотношений родителей и детей.

— У меня уже взрослые дети. Дочь — студентка, будущий биолог, сын учится в техникуме, увлечен электроникой. Острая проблема, с которой сталкиваются родители европейских, скандинавских стран, США,— растущее отчуждение между поколениями — меня как отца, к счастью, не тревожит. У нас нетипичная семья для возникновения такой ситуации. Жена — художник, работает дома, я тоже много бываю в семье, и мы имели счастливую возможность самим воспитывать своих детей. Но проблемы, конечно, есть, правда, не такие уж неразрешимые. Между тем состояние отношений между поколениями в широком масштабе, а я изучаю эти проблемы именно с таких позиций, свидетельствует о том, что современная семья, как в капиталистическом, так и в социалистическом мире, переживает серьезный кризис, и вследствие этого налицо ухудшение результатов воспитания.

— И что же, это вина родителей, которые не справляются со своими обязанностями?

— Причин тут много. Например, в развитых странах, где уровень культуры поднялся, резко упала рождаемость. Так, в Швеции одна треть семей вообще отказалась от ребенка. Еще одна треть имеет единственное чадо, а в остальных растут двое-трое. Такая демографическая ситуация не может не иметь отрицательного влияния на результаты воспитания молодого поколения. Ведь что такое единственный ребенок? Как правило, это эгоист, а в обеспеченных семьях даже эгоцентрист, которому родители уготовили в перспективе одиночество. Почему? Да потому, что такие люди обычно плохо уживаются в браке. Другая важная причина снижения качества воспитания — растущее число семей, где дети воспитываются в яслях и детских садах. Нам, ученым, уже давно ясно, как недостаточно для развития личности малыша ясельное воспитание. Увы, родители по-прежнему психологически ориентируют себя на то, что там ребенок сыт и ухожен, а значит, все хорошо. Нет, не хорошо, потому что там ребенок лишен главного — родительской ЛЮБВИ и ЛАСКИ. А потом мы удивляемся, отчего сын вырос таким бесчувственным.

Следует также учесть, что ныне гораздо быстрее, чем прежде, идет смена ценностных ориентаций поколений. Если биологическая смена осуществляется раз в 30 лет, то здесь смена идет каждые 7—10 лет. А это значит, что в семье старший брат порой не понимает младшего. Ведь когда между ними разница в десятилетие, то это уже люди разных ценностных ориентаций! А тут еще родители вытаскивают на свет божий свой личный жизненный опыт, свои ценности и стараются не всегда тактично навязать их детям. Реакция у молодых однозначна — оттолкнуть этот старый багаж. И они правы!

— Но ведь мы, взрослые, стараемся передать детям такие вечные ценности, как любовь, верность, дружба! Разве они уже обесценены?

— Эти ценности вечны. Но давайте задумаемся: разве любовь сегодня не изменила формы своего проявления? Отцы прежде целовались украдкой, а дети целуются на улице у всех на глазах. Но это не значит, что они не умеют любить! Отцы, бывало, весело проводили время в компании с гитарой, а дети идут в дискотеку, где гремит рок-музыка. Мы недоумеваем: как они в этом шуме находят контакт друг с другом? Прекрасным образом находят! Вывод? Те, кто дорожит дружбой взрослых детей, должны отказаться от нотаций и всячески поощрять в молодых свободу, самостоятельность. Невозможно да и не надо удерживать молодых от риска. Нужно только их контролировать, чтобы этот риск был безопасным для жизни. Надо понять, что мы живем на ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ, КОГДА ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ, НОВЫЙ ТИП ЧЕЛОВЕКА. Старая этическая система рушится, она уже не отвечает сегодняшнему времени. Прежде человек должен был сделать выбор между добром и злом. А теперь? Теперь ему приходится все чаще выбирать из двух зол наименьшее, например, когда речь заходит об экологической ситуации.

— Вы упомянули о кризисе, который переживает современная семья во всем мире. Что же все-таки лежит в его основе?

— Неустойчивость брака, тенденции к росту однодетных семей впрямую связаны с отсутствием экономической стабильности. На состояние семейных отношений не могли не повлиять те острые проблемы, с которыми столкнулся мир в последнее время. Кризисы и растущая безработица в капиталистических странах, во-первых, а также те трудности экономического характера, с которыми встретились некоторые социалистические страны, и в их числе Польша. А во-вторых, ухудшение семейной ситуации связано с тем, что до сих пор так и не решена проблема — женщина дома и на работе, хотя об этом много говорят и много пишут, но, по-моему, до конца не сделаны выводы из того факта, что женщина вышла из дома и не хочет туда возвращаться. Общество столкнулось с огромной проблемой: с одной стороны, женщина должна продуктивно работать и создавать блага, а с другой стороны, это отражается на качестве семьи, которую она отодвигает на второй план, и в том числе деторождение. Тут — корень конфликта и корень проблемы, независимо от того, идет ли речь о француженке, польке или американке. Но выход из этого конфликта мы ищем по-разному. В социалистических странах вопрос стоит так: что нужно сделать, чтобы, обеспечив стремление женщины к эмансипации, сохранить семью, причем не номинальную, а полноценную? В некоторых западных странах поиск идет в другом направлении — на щит подымается теория, суть которой состоит в том, чтобы за происшедшие сдвиги в семейном институте «расплачивалась» не только женщина, но и мужчина!

— Что это значит?

— Давайте посмотрим на современную семью в развитом обществе. Как правило, муж и жена оба получили хорошее образование. Оба работают и порой даже в одном учреждении или на одном предприятии. При равных возможностях очень часто женщины оказываются более одаренными педагогами, инженерами, хирургами, журналистами и так далее. Так почему же общество должно поддерживать претензии мужчины на лидерство, если он «не тянет» на него? Согласно новой теории, в социальном разделении труда мужчина менее одаренный ДОЛЖЕН ПОМЕНЯТЬСЯ РОЛЯМИ С ЖЕНЩИНОЙ. Швеция и Дания стали застрельщиками введения этого тезиса в семейное воспитание детей. Теперь в этих странах практикуется такая система участия родителей в воспитании ребенка: мать получает оплаченный отпуск по беременности и родам до года или больше, но когда встает вопрос, кто из родителей возьмет «воспитательный отпуск» по уходу за малышом до 3 лет (а он оплачивается минимально — до одной трети заработной платы), то закон дает право семье решить самим, кто обладает бо́льшим педагогическим даром. Должен сказать, что этот опыт стал осуществляться и у нас в Польше, и, представьте, отцы охотно идут к ребенку! Это, безусловно, положительный

фактор, если учесть, что дошкольное и школьное воспитание у нас феминизировано. Отец как воспитатель в этом случае входит в жизнь ребенка именно тогда, когда он формируется как личность. Я считаю, это один из реальных выходов решения не только детской проблемы, но и проблемы укрепления семьи.

— В 1975 году на Всемирном конгрессе женщин в Берлине я принимала участие в работе одной из комиссий, где обсуждался вопрос об оплате женского домашнего труда. Как вы, профессор, к этому относитесь?

— Увы, эта тема пока только дискутируется! А ведь такое решение проблемы было бы подлинно революционным и справедливым.

Представим на минутку, что наши женщины вдруг перестали выполнять домашнюю работу — не стирают, не убирают, не готовят еду и, конечно, не моют грязную посуду. А теперь попробуйте подсчитать, во сколько эта работа могла бы обойтись государству, если бы ему пришлось все это оплатить. Когда мы подсчитываем вклад семьи, ее производительный труд в государственную прибыль, то домашний труд женщин не учитывается. А ведь это же огромная часть государственного бюджета! И международные женские организации нам, ученым, предлагают обсудить такое решение проблемы для тех женщин, которые хотели бы работать только дома и, воспитывая детей, получать зарплату на уровне хорошо оплачиваемого специалиста. Сказки? Грезы? Может быть, и не такие уж отдаленные!

Но есть еще третий выход. Он более реальный, и жаль, что мы опаздываем с его осуществлением. А выход такой — НАДО НАУЧИТЬ МУЖЧИН ДЕЛАТЬ ЖЕНСКУЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ. У нас в стране на протяжении последнего десятилетия сделано многое для того, чтобы сломать у мужчин психологический барьер перед так называемым «бабским занятием». Раз муж и жена оба работают, пусть и домашние дела делят между собой! Ничего нет зазорного в том, что муж готовит обеды или стирает белье, в дружных семьях именно так решаются повседневные бытовые заботы.

— Мы обсуждаем с вами задачи психологической перестройки семьи, а между тем некоторые ученые в западных странах утверждают, что кризис, который переживает современная семья, грозит ей в XXI веке распадом, гибелью...

— Да, такая точка зрения существует. Институт брака действительно переживает сложный этап. Происходит кризис моногамного брака. Семья стала нестабильной, во-первых, из-за того, что поднялась требовательность человека к качеству семейной жизни, и если он не получает в браке положительных эмоций, он разрывает его. В прежние времена религия не давала возможности менять партнера, и люди, страдая, терпели.

Вторая причина нестабильности брака — снижение рождаемости. Нужна большая всесторонняя работа, чтобы справиться с этой бедой. И не надо ждать, когда кто-то это сделает за нас. Нужно, чтобы семья, мать и отец, так готовили молодое поколение к отцовству и материнству, к семейной жизни, как мы готовим его к труду и защите Родины. Это особенно важно потому, что семья и дальше будет подвергаться ломке и перестройке. Надо осознать, что век научно-технической революции повлиял и будет дальше активно влиять на состояние традиционных семейных отношений. Эти перемены впрямую будут зависеть от роста роботизации, автоматики, информатики. Автоматы возьмут на себя часть работы, которую выполнял человек, и мы в социалистических странах также столкнемся с проблемой избытка рабочей силы, с проблемой безработицы. А что будут люди делать? На Западе уже сейчас это ведет к неполной рабочей неделе, неполному рабочему дню и, как следствие, падению заработной платы, реального жизненного уровня. Со временем и в наших странах возникнет вопрос, кого увольнять, а кого оставить. Мужчину? Женщину? Какой же тут должен быть критерий? Он должен быть один — оставить на работе более одаренного и полезного человека независимо от пола. А раз так, значит, обществу предстоит психологически, эмоционально подготовить человека к такой перспективе и дать ему возможность именно в семье обрести точку опоры.

— Всего двенадцать лет осталось до вступления человечества в третье тысячелетие. Какой же будет семья в XXI веке?

— Я оптимист и думаю, что в веке грядущем семья как институт сохранится, не погибнет, как это предсказывают мои зарубежные коллеги. Но, безусловно, ее ждут немалые испытания...

— А не кажется ли вам, что женщина, извечная хранительница семейного очага, будет той силой, которая не даст семье погибнуть?

— Да, женщина, безусловно, будет стремиться сохранить семью в силу своих психологических, биологических особенностей, а также своего извечного отношения к любви. Мадам де Сталь в свое время, по-моему, очень прозорливо заметила, что любовь для женщины — ЭТО ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ ЕЕ ЖИЗНИ И ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КРАТКИЙ ЭПИЗОД В ЖИЗНИ МУЖЧИНЫ. И она совершенно, по-моему, права!

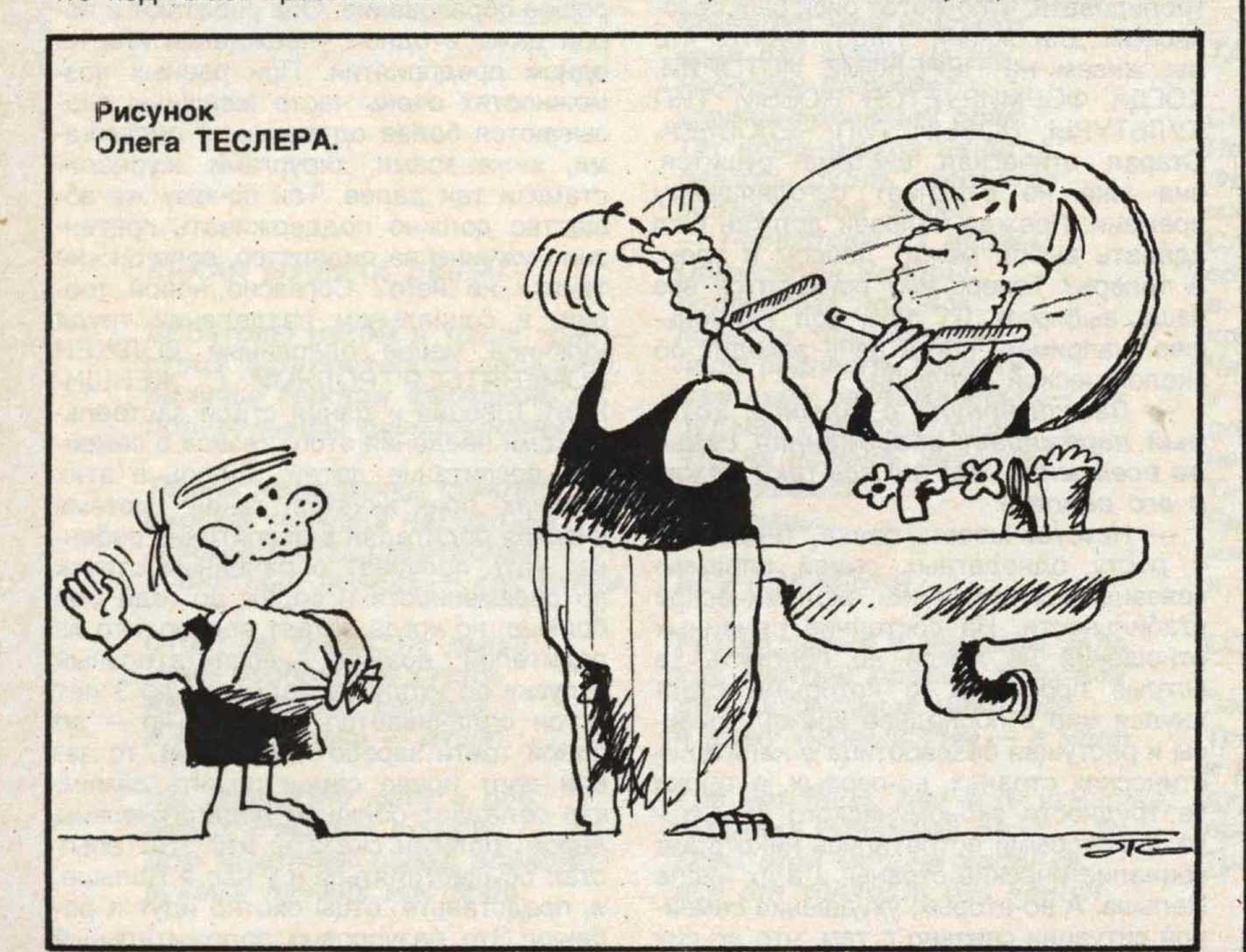


Рисунок Олега ТЕСЛЕРА.

МЕДАЛЬ Н. И. ВАВИЛОВА



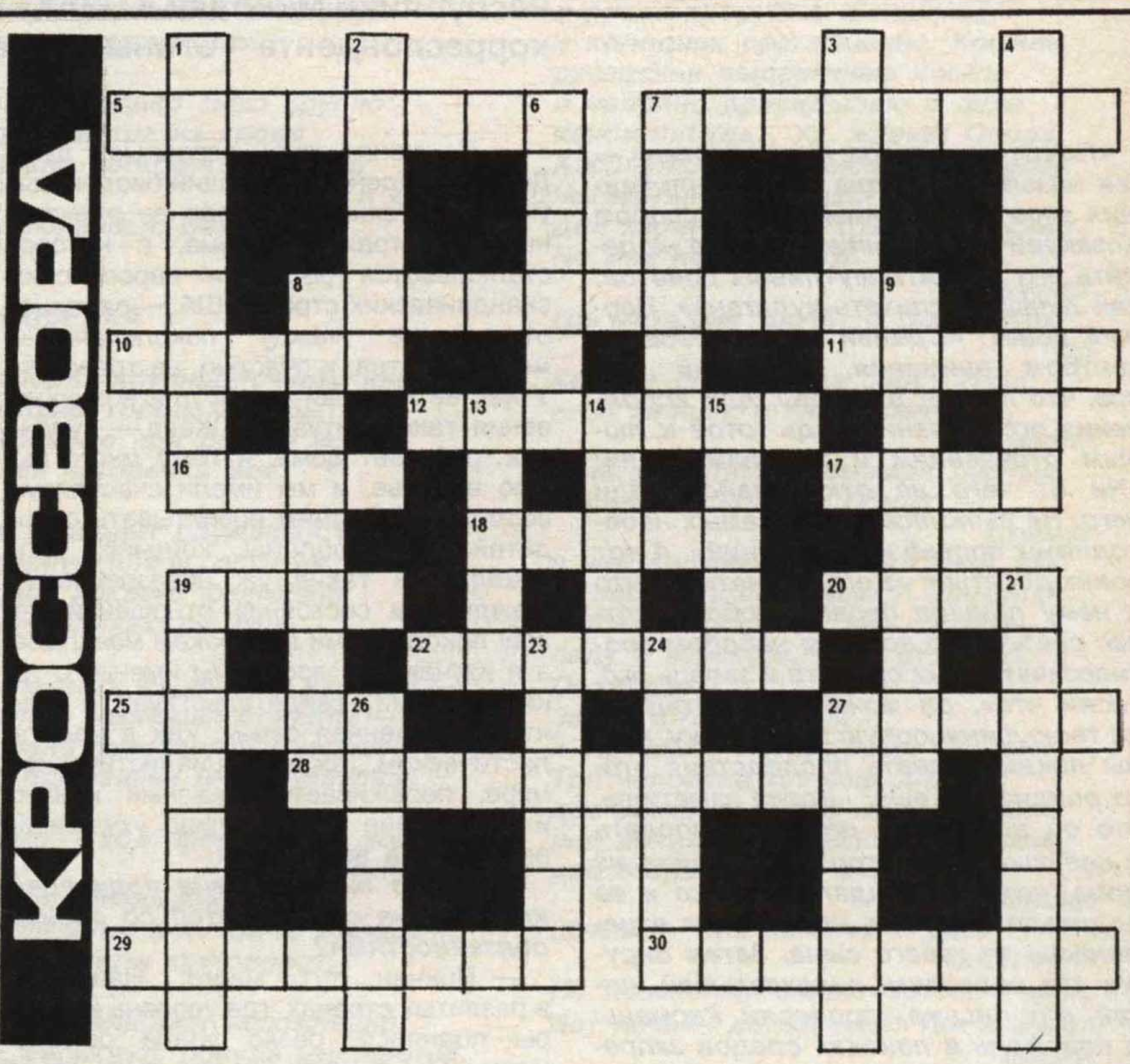
«Хотелось бы, чтобы именно «Огонек» первым напечатал фотографию этой медали, отлитой в честь Николая Ивановича Вавилова. Вы выпустили интересный номер к его юбилею»,— сказали нам в оргкомитете по проведению столетия академика Н. И. Вавилова.

Юбилей выдающегося советского ученого широко отмечался во всем мире. Например, прошел интересный советско-чехословацкий симпозиум в Брно. На нем, кстати, скульптор из Чехословакии В. А. Кованич и передал созданную им медаль Н. И. Вавилова главе советской делегации, члену-корреспонденту АН СССР, известному генетику И. А. Рапопорту.

— При работе над портретом Вавилова,— рассказал скульптор,— я старался понять трагичность судьбы великого ученого. В истории это не первый случай. Нашего ученого Менделя также постигло наибольшее унижение, какое может постигнуть ученого. К счастью, то было уже после его смерти.

Одинокость гениев общеизвестна, трагичности их судьбы можно, однако, избежать. Потом парят над нами тени их трагедий, которые становятся нашими трагедиями. Поэтому давайте рядом с наукой растить любовь, чтобы от нас не исходило ни зла, ни обиды, а лишь правда и справедливость.

В. БЕЛЕЦКАЯ



По горизонтали: 5. Польский танец. 7. Русский зоолог, зоогеограф и путешественник XIX века. 8. Город в Мексике. 10. Роман Б. Пруса. 11. Река, соединяющая Онежское и Ладожское озера. 12. Живописец и искусствовед, академик, народный художник СССР. 16. Приток Алдана. 17. Немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, активный борец за мир. 18. Народная артистка СССР, певица Молдавского театра оперы и балета. 19. Курс судна относительно ветра. 20. Вид искусства. 22. Терраса вдоль стены дома. 25. Длинная игла для вязания. 27. Специализированное животноводческое хозяйство в колхозах и совхозах. 28. Драгоценный камень. 29. Писатель, просветитель, создатель русской социальной комедии. 30. Химический элемент, металл.

По вертикали: 1. Стальной каркас железобетонных сооружений. 2. Кантата П. И. Чайковского. 3. Источник средств, доходов. 4. Продольный элемент конструкции крыла, фюзеляжа самолета. 6. Государство в Северной Америке. 7. Жанр камерной музыки. 8. Древнейшая славянская азбука. 9. Общепризнанное значение, влияние. 13. Французский писатель-гуманист XVI века. 14. Город в Северной Италии. 15. Период поединка в боксе. 19. Спутник Сатурна. 21. Государство в Юго-Восточной Азии. 23. Герой поэмы А. С. Пушкина. 24. Представитель одного из народов, живущих в Хабаровском крае. 26. Один из чемпионов мира по шахматам. 27. Наука о свойствах и строении материи и о законах ее движения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 5

По горизонтали: 1. Маршрут. 7. «Печенег». 8. Доронин. 9. Дарвинизм. 11. Стриж. 12. Медео. 16. Циклотрон. 17. Лепорелло. 20. Зерно. 24. Оскол. 25. Апшеронск. 26. Зрелище. 27. Идальго. 28. Артмане.

По вертикали: 1. Монтаж. 2. Рогава. 3. «Родина». 4. Туризм. 5. Регата. 6. Винтер. 9. Дисциплина. 10. Медногорск. 13. Скрепа. 14. Токарь. 15. Гребля. 18. Церера. 19. «Коняга». 21. Оптика. 22. Берест. 23. Бобина. 24. Остаде.

СВЕТОТЕНЬ

Юрий РОСТ

ЧЕРЕЗ СТЕКЛО

Галина Уланова на фоне зала Большого театра. 1985 год. Январь. Канун семидесятипятилетия Балерины. Счастливый снимок. Один-единственный негатив на всю засвеченную аппаратом пленку, но как будто этого снимка я и ждал. Здесь, кажется, Уланова очень похожа и на наше представление о ней, и на себя самое.

Публичный образ, который несет человек — актер в особенности,— не всякий раз совмещается с его реальным обликом. Возникает такое, знаете, несовпадение красок, какое бывает в скверной печати, и контуры размываются. Ты подразумеваешь то, что изображено, но не видишь своими глазами.

Здесь же все четко. Она действительно такая. Строгая, аскетичная, твердо определившая, что ей назначено в жизни и как это назначение осуществить. Точнее, осуществлять, потому что, зная направление движения, она не видит его конца. И в этом она — художник. А непрерывность движения гарантирована тем, что она профессионал.

Ее жизнь вся подчинена балету. Даже дома подарки и памятные вещи не разложены «по полкам», а как бы оставлены на потом. Сочувствую вещам — им так жить всегда...

На месте лишь гигантское зеркало, необходимое для работы, диван, необходимый для отдыха, портрет Анны Павловой, предтечи, и фотография Греты Гарбо — актрисы, которая привлекала Уланову своим искусством и образом[1].

Гарбо однажды хотела познакомиться с балериной, и тогда они приблизились настолько, что смотрели друг другу в глаза, но не обменялись ни единым словом. Во время гастролей Большого театра Уланову привезли в дом, куда для встречи с ней должна была приехать Гарбо. И она приехала. Но вход был запружен восторженными поклонниками великих актрис. Гарбо подошла к окну с внешней стороны, Уланова — с внутренней. Они долго смотрели друг на друга. Их разделяло стекло и развела толпа. Две большие актрисы не смогли преодолеть препятствие и навсегда остались наедине с собственными представлениями о мимолетном визави.

Эта фотография Улановой — тоже изображение через стекло объектива. Очень чистое, оптическое, но все-таки стекло. И вот получился образ... А я, бродивший с ней по Большому театру в поисках этого образа, свидетельствую, что за ним живой, обаятельный, тактичный, неприхотливый, как истинный труженик, и невероятно уважающий чужую работу человек. Небольшая великая женщина, всей своей громадной силой охраняющая свое право на слабость.

[1] Увы, Гарбо — одна из величайших актрис мирового кино, нашему зрителю неизвестна. Кого мы только не видели, а ее нет. Чудеса...



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ КОРЫ

Эльжбета Даугвелене (1886—1959) родилась и безвыездно прожила в Каунасе. И сейчас стоит построенный по ее проекту дом, в котором работала народная художница. В саду растут посаженные ею яблони, груши, вишни. Ранней весной собирала она кору деревьев, обрабатывала специальным способом, сушила, а затем суровой ниткой и иглой пришивала к холсту или крепила к металлическому каркасу.

Порой само дерево с его фантастическими формами подсказывало художнице ту или иную композицию. Так родилась скульптура «Освенцим» — аллегорическое изображение человеческого страдания, «Крепостной гнет», «Двадцатый век» и многие другие самобытные работы. Творческие находки самодеятельной художницы нашли прописку и в каунасском Государственном художественном музее имени Чюрлёниса.

На этой мажорной ноте можно было бы и закончить нашу заметку, если бы не одно печальное обстоятельство. В настоящее время сад, посаженный руками Эльжбеты Даугвелене, находится в разорении, да и дом-музей нуждается в заботливом внимании. Однако Каунасский исполком проявляет пока равнодушие.

Олег ТУРКОВ











ISSN 0131 — 0097
Цена номера 40 коп.
Индекс 70663